

СОЦИАЛЬНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ.

Пролетарии всех стран

В. П. ВОЛГИН.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОММУНИСТ XVIII В.

(Жан Мелье и его „Завещание“)



Отдел Печати Московского Совета Р и К. Д.

Революционный коммунист XVIII в.

(Жан Мелье и его „Завещание“).

В ряду французских коммунистов XVIII в. Жан Мелье представляет фигуру в высшей степени своеобразную. В то время, как для Мабля или для Морелли социализм — светлая мечта, осуществление которой возможно лишь в неопределенном будущем, а то и вовсе невозможно, для Мелье социализм — вопрос современности, борьба за социализм — задача непосредственной деятельности. Говоря коротко, он единственный социалист-революционер до-революционной Франции. Сознание необходимости революционной пропаганды объединения угнетенных, борьбы с высшими классами — эти идеи сближают его гораздо больше, чем кого-либо из его современников, с социалистами XIX в.

Не менее интересен Мелье и в другом отношении — со стороны своих философских идей. Скромный сельский священник, он в то же время самый решительный и последовательный атеист, для которого всякая религия — лишь лицемерная сказка, придуманная высшими, чтобы держать в узде низших, он — один из самых ранних пропагандистов материализма во Франции XVIII в.¹⁾

¹⁾ „Завещание“ Мелье написано в конце 20 х или начале 30 х гг., а „Естественная история души“ де-ла-Моттри лишь в 1745 г.

Точных сведений о жизни Мелье имеется чрезвычайно мало. В своей „История литературы XVIII в.“ Геттнер выражает даже сомнение в самом его существовании и называет „Завещание“ мнимым¹⁾ В настоящее время благодаря труду Р. Шарля, издавшего „Завещание“ в 1864 г. впервые в полном виде, мы уже не можем относиться к Мелье так скептически. И все же мы почти ничего о нем не знаем. Невозможно даже приблизительно сказать, в какой обстановке прошло его детство. По одним сведениям, его отец был рабочий, по другим — владелец шерстяной мануфактуры. Конечно, в XVII в. эти два понятия рабочий и фабрикант — значили совсем не то, что мы можем приписать себе по аналогии с XIX в. Наиболее правдоподобным будет, пожалуй, если мы переведем эти термины на современный язык, назовем отца Мелье кустарем. Но это предположение дает еще очень мало оснований для суждения о степени состоятельности семьи Мелье, так как занятие кустарными промыслами само по себе было доступно в той или иной форме в ее элементам деревенского населения.

Родился Мелье в деревне Мазерви в Шампани, в 1664 или в 1678 г. Его раннее детство прошло в той же деревне; здесь же он получил первоначальное образование у местного священника, который затем поместил его в семинарию. Семинария, несомненно, дала Мелье очень много; конечно, не семинария сделала из Мелье коммуниста и материалиста, но тот философий и литературный материал, с которым он все время оперирует, в громадном большинстве случаев — бесспорно семинарский. Мы будем еще иметь случай в этом не раз убедиться.

По окончании семинарии Мелье получил приход Эгревиньи в Буа Шампани, где и прожил почти безвыездно до самой своей смерти. Там он очень уединенно

¹⁾ Геттнер, История литературы XVIII в., стр. 117. Париж, 1866 г. т. II, 247.

посещал только двух соседних священников, свой досуг посвящал чтению и перечитыванию немногих любимых авторов. Доход тратил на милостыню и был любим прихожанами, с которыми некогда не делался своими соображениями, был очень старателен в исполнении священнических обязанностей.

Библиотека Мелье не отличалась большим богатством. Библия, Монтэнь, отцы церкви и Фенелон,—такое, по данным Р. Шарля, было ее содержание. Но, судя по цитатам „Завещания“, эрудиция Мелье была довольно обширна. Наиболее изученная и наиболее часто цитируемая им книга, это—Библия. Отношение к ней у Мелье двойственное. В общем, это—книга, по его мнению, наполненная глупыми и смешными, а подчас—и вредными сказками. Но находя в ней мысли, сходные со своими, Мелье охотно пользуется цитатами из Библии для подкрепления своих доводов. Еклезияст дал ему в этом отношении много ценного, притом в чрезвычайно яркой и выразительной форме ¹⁾ Знакома ему также литература отцов и учителей церкви, но ими он ни интересуется, и пользуется гораздо меньше.

Первое место после Библии занимают в цитатах Мелье латинские и греческие классики, при чем больше первые, чем вторые. Лукреций — один из наиболее чтимых им авторов ²⁾. С интересом и сочувствием цитирует он описание золотого века у Овидия ³⁾. Знакомы ему также Виргилий, Лукиан, Ливей, Тацит и др. Всем этим он, конечно, обязан семинарской науке. Из той же семинарии вынес Мелье знакомство с французскими проповедниками XVI и XVII вв., вообще с французской богословской и философской литературой. Опровержению философии Декарта и Мальбранша он посвящает целые главы „Заве-

¹⁾ Testament, I, 3

²⁾ Testament, III, 30.

³⁾ Testament II, 252

Лавая" 1). Из французских светских писателей чаще всего цитируется Монтень; это для Мелье почти непререкаемый авторитет. Но под руками у него были во время составления „Завещания“ и более близкие по времени авторы, напр. Лабрюйер 2). Из политических писателей он знает де Комина 3) и очень многие современные ему книги: *Esprit de Mazarin*, *Espion ture*, *Salut d' l'Europe en 1694*, *Телемаха* и т. д. Очевидно, он внимательно следил за текущей литературой, несмотря на неблагоприятные условия деревенской жизни. Странно, что Мелье ни разу не упоминает имени своего прямого предшественника (в философском отношении) материалиста Гассени. Это тем более странно, что в французской школе XVII в. Гассени имел многочисленных последователей 4) и не мог остаться совершенно неизвестным Мелье. В связи с этим любопытно отметить две черты, резко отделяющие Мелье от позднейших французских просветителей: незначительность естественно-научных познаний и незнакомство с английской философской литературой.

От библиотеки Мелье нам необходимо теперь обратиться к той обстановке, в которой он прожил всю свою сознательную жизнь. Она заслуживает самого пристального внимания со стороны всякого, кто хочет понять такое своеобразное произведение, как „Завещание“.

Французская деревня конца XVII и начала XVIII века изучена еще очень мало: гораздо меньше, чем деревня средневекового периода. Для того, чтобы познакомиться с ней, приходится обращаться непосредственно к показаниям современников.

Прекрасную общую характеристику положения крестьянства в конце царствования Людовика XVI дает Лабрюйер. „Взгляньтесь в наши поля, — говорит Ла-

1) III, гл. LXXX и гл. LXXXI.

2) Т. I, 71.

3) Т. II, 273.

4) Лавте Петров и Лавочкин и др.

брювер—мы видим, что они усеяны множеством каких-то животных,—самцов и самок, с смуглым, синевато-багровым цветом кожи, перепачканных землею и совершенно сожженных солнцем; все они точно прикреплены к земле, которую роют и переворачивают с непоколебимым упорством. Они обладают чем-то в роде членораздельной речи, и когда кто-либо из них подымается на ноги, то у него оказывается человеческое лицо; и действительно, это—люди. На ночь они прячутся в свои логовища, где они живут, питаются черным хлебом, водой и кореньями“¹⁾). Конечно, этой очень яркой и художественной характеристикой крестьянской нищеты недостаточно, чтобы нарисовать конкретную картину экономической жизни деревни. Но она может быть легко восполнена, если мы обратимся к другим источникам: к докладным запискам различного рода чиновников, специально командированных в провинции для изучения их экономического положения, а также к заявлениям хорошо знакомых с экономической жизнью страны государственных деятелей. Таких записок дошло до нас немало²⁾).

Общий хозяйственный кризис, общее обеднение деревни—одинаково решительно подчеркиваются всеми наблюдателями. Один из признаков благосостояния—рост населения; во всех исследованных местностях Франции в конце XVII в. наблюдается обратное явление: население уменьшается, значительная часть его обращается в нищих и погибает от болезней и голода. Всюду печальные картины—дома разрушены и не восстанавливаются, масса земли заброшена и не обрабатывается. Крестьян-собственников больше не существует: крестьяне не имеют ни одного клочка собственной земли; за последние полвека она вся распродана. Зажиточные арендаторы исчезли, их заменили половинки Пржеде-

¹⁾ Labruyère, II, 97.

²⁾ Они собраны, между прочим, в издании „*Mémoires des représentants*“ р. Boissière.

фермеры имели все, что необходимо для эксплуатации фермы: скот, как для работы, так и для навоза, известное число рабочих и некоторый свободный капитал, который позволял им хранить хлеб и продавать его в то время, когда это выгодно. Этот тип фермера капиталиста вытеснен бедняками-половниками, у которых нет ничего для ведения хозяйства. Хозяева должны давать им ссуду на пропитание, снабжать их скотом, платить за них налоги, и на покрытие всех этих долгов часто даже не хватает их доли урожая. Эти полунищие не могут хорошо обрабатывать землю; малейшее стихийное бедствие: болезнь, гряд, падеж скота или еще какая-нибудь случайность, — окончательно выбивает их из колеи и заставляет прибегать к милостыне. Очевидно, это — настоящий сельский пролетариат, но только, так сказать, в скрытом состоянии.

Параллельные изменения происходят и в быту крестьян. Потребление падает: в этих местностях крестьяне питаются исключительно черным хлебом, а иногда и того не имеют — варят корни пастернака и едят его с ячменной и овсяной мукой. Мясо они видят не чаще трех раз в году, а иногда и того не удается. Скот страшно падает в цене, так как крестьяне вывозят его на рынок в излишнем количестве. Но тому, кто желает наглядно убедиться в нищете крестьянина, следует заглянуть в его жилище. Он увидит, что единственная одежда крестьянина — на нем, да и та никуда не годится, мебели никакой, запасов — никаких, все свидетельствует о крайней нужде. Последствия этой нужды — физическое и нравственное вырождение населения, болезненность и повышенная смертность с одной стороны, попрошайничество и отчаяние — с другой.

Итак, мы получаем такую схему: обезземеление крестьян-собственников; исчезновение класса зажиточных арендаторов; крайне низкий жизненный уровень массы сельского населения — должники стоящих вечно на

пороге нищеты, наконец, сокращение площади обрабатываемой земли. Таким образом, мы имеем перед собой картину общего экономического упадка деревни. Очевидно, в середине XVII в. в ней произошла уже некоторая дифференциация: из массы крестьянства выделились фермеры-капиталисты и наемные рабочие. Но суть хозяйственного кризиса деревни стнюдь не в ней, не в этой дифференциации. Наоборот, в связи с кризисом происходит известная нивеллировка деревенского населения в сторону полоничества. Зажиточных людей не видно: все уравнивается в общей нищете и цепляются за землю, лишь как за единственное спасение от необходимости идти по миру.

В чем же причина этого странного на первый взгляд явления?— Несомненно, в том, что у французского крестьянина XVII в. сравнительно в малой степени страдательного от эксплуататора капиталиста было два эксплуататора, гораздо более страшных: государство и дворянство. Если мы припомним, какие чрезвычайные расходы, — вернее сказать, какое чрезвычайное расточение народных сил и средств, — производилось правительством Людовика XIV во вторую половину этого блестящего царствования во имя интереса к дворянству и к поднимающей голову буржуазии, если мы примем во внимание, что всей своей тяжестью эти расходы ложились на плечи крестьянской массы, то нам станет понятно, что государственная эксплуатация именно в изучаемый нами период должна была достигнуть наивысшего напряжения. Давление государственного прессы сильно давило себя, позволяло и раньше задерживалось дальнейшее хозяйственное развитие деревни. В конце XVII в. оно достигло таких размеров, что положение всех слоев деревенского населения стало невыносимым. Для капиталиста и наемного рабочего и могло быть место там, где еще сохранилась эксплуатация со стороны помещика. Так обладатели капитала и наемные рабочие могли еще бороться за землю и

рались, или бежала из деревни, предпочитая искать для своих средств другое помещение, которое приносило бы более верный доход. Но это бегство капиталов из деревни отнюдь не облегчало положения рядовой массы крестьянства и сельского пролетариата. Разоренное поборами крестьянство продавало свою землю за бесценок превращалось в половников или пополняло кадры сельского пролетариата. Сельский пролетариат, в свою очередь, вместе с исчезновением из деревни капиталистов предпринимателей, терял лишь возможность заработка но не приобретал ни собственности земли, ни срудий производства. Его положение становилось безвыходным. Только ничтожная часть пролетаризованного крестьянства могла найти заработок в промышленности, так как спрос на рабочие руки был еще при слабом развитии капитализма очень низок, и закон об обязательном ученичестве преграждал дорогу во многие отрасли производства. Немудруно, что, теряя последнюю связь с землей, крестьянин тем самым почти наверняка превращался в нищего и бродягу.

Мы говорили пока лишь об эксплуатации государственной. Но не надо забывать, что наряду с нею и с тем же направлением действовала эксплуатация феодальная. Несмотря на то, что крепостное право считало уже почти во всей Франции остатки феодализма в виде разнородного рода и барщины помещик еще сильно давал себя чувствовать. Для нас феодализм кончался в конце XVIII в. неизбежно представляется еще чем то немалым крупным значением по сравнению с тем же государственным. Время нахождения на крестьянском государственном, крестьянин возрастает, достигло, выжило, своего кульминационного пункта. Феодальные права на барщину, а также на ступеньки, и феодальные выходы из крестьянского дохода становились все меньше. Тем самым для дворян обремененных наблюдениями и налогами. Но вряд ли таковы были чувства крестьян. Скорее на борьбу, чем туго, вс

обще, жилось крестьянину, тем большее значение приобретал для него каждый час его труда, каждая вырученная или сбереженная им копейка. И отдавать этот час, эту копейку сеньёру—это должно было совсем выводить из себя и без того озлобленного, изголодавшегося и крестьянина.

В Шампани остатки феодализма держались особенно упорно и, вероятно, чувствовались особенно болезненно. До самой революции в Шампани сохранился *serfage*, охранялся целый ряд редких в остальной Франции феодальных повинностей. А между тем и нищета крестьян достигла там едва ли не крайней для всей Франции степени. Поражающую бедность Шампани отмечают даже названуне революции, когда, в общем, положение крестьянства значительно улучшилось.

Познакомившись в самых общих чертах со средой, в которой жил Мелье, мы можем теперь вернуться к его биографии. Бедной событиями жизни сельского священника суждено было закончиться очень ярким драматическим эпизодом, чрезвычайно характерным для его отношения к этой среде.

Сеньёр той деревни, в которой жил Мелье,—де-Клери обидел чем-то своих крестьян. Мелье не пожелал произнести обычной молитвы за сеньёра. Тогда де-Клери пожаловался архиепископу Реймскому, кардинал сделал Мелье надеждающее внушение. На следующее воскресенье Мелье взошел на кафедру и сказал: „Вот (обычная судьба бедных деревенских священников: архиепископы их пренебрегают и даже не выслушивают; они сами — сеньёры и их уши открыты только для вина). Итак, помолимся за нашего сеньёра. Будем просить Бога об его обращении, чтобы он впредь не обижал бедных и не грабил сирот“. Сеньёр, присутствовавший при этой своеобразной молитве, принес новую жалобу. На этот раз архиепископ, вызвав Мелье, оботелся с ним очень грубо. С этого и жена Мелье и сама Мелье и закрыты

«Свое идеальное видение скорбелось в соединении с сознанием собственного бессилия, полнейшей невозможности с этим унижением бороться, сделали жизнь интеллигентного самолюбивого священника совершенно невозможной. Смерть стала казаться ему единственным достойным выходом из создавшегося положения, и в 1729 г. умирал себя голодом».

Во всем этом эпизоде для личности Мелье характерны твердость и решительность, с которой он выступил против сенатора, его неспособность идти на уступки, приспособляться к обстоятельствам, — неспособность стоившая ему жизни. Что же касается того факта, что священник оказался на стороне крестьян против сенатора, то в нем нет ничего особенно неожиданного и странного. Сельское духовенство по своему положению стояло ближе к крестьянской массе, чем к привилегированным. Доля его в громадных доходах первого сословия была слишком ничтожна, чтобы оно могло чувствовать себя солидарным с духовной знатью, жившей по княжески. А ничтожное содержание, скудная жизнь, презрительное отношение светских и духовных магнатов, постоянное общение с народом создавали почву для духовного сближения с угнетенной массой, для искреннего и глубокого проникновения ее интересам.

Просто уйти из жизни, признав себя побежденным, Мелье не мог. Чтобы спокойно умереть, ему нужно было сознание, что и после смерти он будет продолжать борьбу со своим врагом. Конечно, не с сенатором де Клериком, а со всем тем строем общественных отношений, характерные особенности которого так болезненно давали ему себя почувствовать в последние дни его жизни. Теперь, уходя из жизни, он чувствовал себя в силах сделать то, на что не мог решиться раньше: открыто сказать все, что он думает о человеческих отношениях, о религии, о государстве и общественном строе. У него давно уже

и есть и простота выражения мысли, не акрusher к ложоаний и сомнений. И в т, всегело проникнуть й мыслью о близкой смерти, (и пишет свое „Завещание“.

Написано „Завещание“, неменно, в дни, когда Мелье уже знал, что его конец близок. «Мои дорогие друзья,—пишет он,—я не мог сказать вам при жизни того, что я думаю, и ршил п делиться с вами свими мыслями после смерти. Мне хот тьсь бы перед смертью поговорить с вами, б я не знаю будет ли у мн в мои последние минуты время и прхотение духа и потому я предпочел из ожит то что я хот ть сказать в письменной форме»¹⁾ Так, смы тно близкой смерти начинается „Завещание“. Этой же мыслью о смерти является, только выражена она на этот раз гораздо более решительно. В начале Мелье как будто еще чувствовал некоторую связь с жизнью—обязанность и вознть последний долг—сказать всю правду. Теперь долг и выполнен, в жизни делать больше нечего. А после смерти нет ничего.

„Я не сделал в своей жизни ничего преступного. Но на меня, несомненно, будут клеветать после моей смерти, (будут оскорблять меня, и тогда за то что я оселен сказать правду. Пусть думают что хотят, судят как хотят, говорят и делают все, что хотят, это меня не беспокоит ничуть.. Я почти не принимаю уж участия в том, что делается в мире: мертвцы—а я теперь с ними — не беспокоятся и не заботятся ни о чем²⁾“ Вряд ли можно заподозрить искренность этих трогательных слов.

Закончив книгу, Мелье переписал ее в трех экземплярах и принял меры к тому, чтобы она не попала в

Действительно, „Завещание“ не пропало. Вскоре после меня в Париже было уже более сотни экземпляров. И

¹⁾ Testament, I, 2.
²⁾ Testament, I, 2.

дальнейшая его судьба была очень печальна. „Завещание“, как и вообще революционный коммунизм, было изгнано из двора во Франции XVIII века. В 1735 г. Thiériot сообщил о нем Вольтеру, который сначала не обратил на это сообщение никакого внимания. Только 27 лет спустя Вольтер напечатал выдержки из первого чата „Завещания“, выбросив все, что находил слишком резким. Мелье — социалист и атеист — не попал в издание Вольтера. Кроме Вольтера, отрывки из „Завещания“ были изданы Гольбахом и Оливье-н-Марешлем. Все эти издания, вероятно, выгнали с рынка иные рукописные копии „Завещания“. Лишь в середине XIX в. Р. Шарлю удалось найти случайно один экземпляр у голландского антиквара. Благодаря этой находке, в 1864 г. „Завещание“ было впервые напечатано полностью.

II

План „Завещания“ очень своеобразен и неповторим. На всей книге лежит отпечаток, хотя и притупленный, но спешной работы. Многочисленные повторения совершенно излишние, производят досадное впечатление. Иногда повторяет не только раз высказанная мысль, а прямо целый отрывок, целая цепь мыслей, и притом буквально теми же словами. Несмотря на этот недостаток основную нить изложения нетрудно уловить. Центральная идея „Завещания“ — ложность религии вообще, христианства — в частности. Этому тезису автор не теряет из виду на всем протяжении своего сочинения, представляя собою как бы полный свод всех возможных доказательств его справедливости исторических, моральных, метафизических.

Чтобы понять, почему религия заняла у Мелье такое центральное положение, необходимо познакомиться с тем, какую роль приписывает он ей в истории чело-

ческих общества, — точнее говоря, в истории дырящей в них вечно несправедливости. В социально-политических идеях „Завещания“ — ключ к его пониманию. С них мы и начнем наше изл.жение.

Критерий с которым Мелье подходит к анализу общественного строя, — чисто моральный. Величайшие блага для людей: мир, добрососедельные отношения друг к другу, справедливость. Это — источники человеческого счастья. Самое ужасное в жизни — раздоры, злоба, ложь, несправедливость, лицемерие и тирания. Они разлагают в людях все лучшее и являются источником всех пороков и бедствий, среди которых люди проводят свою жизнь. Весь жизненный опыт свидетельствует, что в мире царят ложь и несправедливость. Те, кто как-нибудь поставлен для осуществления справедливости — они то и раз наиболее преступны, ибо на место справедливости поставили беззаконие. Слезы обиженных и страдания народа, угнетаемого богатыми и сильными, внушают такое отвращение и презрение к жизни, что можно воскликнуть вместе с Соломоном: *laudavi magis mortuos quam viventes et feliciorum utriusque judicavi, qui necdum natus est nec vidit mala, quae sub sole fiunt* ¹⁾.

Исходя из этих общих положений Мелье в целом ряде глав (43 — 59) подробно разбирает важнейшие несправедливости общественной жизни.

Первое зло — непропорциональное распределение благ между сословиями ²⁾. Одни как будто рождены, чтобы ограничивать господствовать над другими и получать в жизни всякие удовольствия, а другие — чтобы быть наложниками, жалкими рабами и сплести всю свою жизнь под бременем труда и нищеты. Эта непропорциональ-

¹⁾ „Лучше быть мертвым, чем живым, а счастливее всех тот, кто вовсе не родился и не видит зол, творящихся под солнцем“. *Le Testament de Jean Meslier*, Amsterdam, 1864. I 5

²⁾ Т. II 169.

ность совершенно несправедлива, ибо она не основана ни на каких личных заслугах. Ссылатся на службу предков тоже не приходит я. В самом деле, куда взялись эти люди, кичащиеся (в свою знатность)? Если мы подумаем об историческом происхождении дворянских и княжеских фамилий, если мы проследим их дословные вилы до источников, то найдем, что предки те, которые столько кричат о своей знатности, были люди кривошеи, жестокие, тираны, предатели, воры и ценоуники. Чтобы этим преступникам придать величие, придумали очень простое средство: одно слово заменить другим. Самые ужасные преступления, самые наглые захваты всегда покрывали и сейчас еще покрывают, называя настоящим разбой — завоевание. И приданное ему этим словом видимость чего-то справедливого. Эти несчастные и жестокие грабители всегда делают вид, что они охраняют свободу и права народа, их религию и их законы, а на самом деле это — тираны, лицемеры и безбожники. Таковы они все. Что же знаменитые четыре первые монархии? Это — те сударь-ва банкетов, авачи-ря тов, пиратов и грабителей. Разве не раз в пират Дномед в своей речи к великому Александру? „Я называюсь корсаром, — сказал он. — потому что у меня один корабль, а ты называешься императором, потому что у тебя множество кораблей; если бы ты был один и в плену, как я, ты бы на тебя смотрел бы как на разбойника, а если бы я был во главе многочисленной армии, то меня бы считали бы императором. Есть еще один различие между нами в том, что ты делаешь больше зла, чем я. Мне приходится грабить людей, а тебе только тебе самим и насильно жадность“. И Александр с этим согласился и взял Дномеду в свою армию, чтобы дать ему возможность в будущем грабить как власть имущему.

Вот такая правда по природе. Все имеет равное право на то, что оно имеет. И если кто-то захочет...

ной свободой и некоторой частью благ земных, занимаясь полезным трудом для приобретения всего, что необходимо в жизни. Зависимость между людьми, которая одних черезчур возвышает, а других унижает, одним дает слишком много, а другим — ничего, одним — все блага и удовольствия жизни, другим — горе, несчастье, нужду и заботы, — такая зависимость несправедлива и ненавистна, она явно противоречит естественному праву. Мало того, она сеет гордость, высокомерие, тщеславие, надменность в одних, а в других порождает ненависть, гнев, желание мести. Как языческий, так и христианская философия одинаково признают естественное равенство людей. Пример — Сенека, — с одной, и Евангелие, — с другой стороны. Все мы равны по своему происхождению, один не благороднее другого, разве только он выше по духу, более добродетелен и более способен к умственному развитию. Король, князь, монарх, повелитель, знатный, подданный, вассал, вольноотпущенный, раб, — все это имена, созданные тщеславием несправедливостью и тиранией. Христиане не могут осуждать этих мыслей на том основании, что они принадлежат языческим философам. Сам Христос пришел смотреть на людей, как на братьев и любить их, как братьев. „Кто хочет быть первым среди вас, да будет последним“, сказал он. Не гордиться следовало бы своей знатностью, а стыдиться ее.

Итак, преимущества, которыми знатные пользуются перед народом, — несправедливы. Отметим здесь, что слово народ (peuple) для Меланшона имеет то же значение, что и слово крестьянин (paysan). Первое, очевидно, замечательно для самого автора заменяется вторым. Народ, т. е. крестьяне, слуги знатных. Крестьяне вынуждены терпеливо сносить не только грубое и презрительное отношение, но и только обиды со стороны дворян, но всевозможные притеснения и явную несправедливость. Нет ничего более жалкого и несчастного, чем французский крестьянин. Он работает и знает и наделан, а все это не приносит ему никакой пользы.

батывает на пропитание самому себе. Дворяне недовольны еще, что пользуются почетом, что им принадлежат лучшие земли—они стремятся хитростью или силой отнять у других их достояние. Они заставляют платить себе по дати, отбывать барщину и оказывать такие услуги, какие крестьяне вовсе не должны оказывать. Они не довольны, если им не дадут всего, что они требуют, если перед ними не ползает на коленях. Самый маленький дворянчик заставляет крестьян трепетать перед собою, старается урвать, что только может, то у одного, то у другого из них. Они—настоящие черви; как черви, они пожирают простой народ. Бедные люди были бы счастливы, если бы их не мучил этот злой гад; они будут вечно несчастны, если от него не отделаются. „Вам говорят о дьяволах, дорогие друзья; вас пугают одним только именем дьявола, вас заставили поверить, что дьяволы—самые злые и отвратительные существа, что они—худшие враги человеческого рода, что они стараются только о том, чтобы погубить людей и сделать навеки несчастными в аду. Но знайте, что для вас нет более злых дьяволов, чем те люди, о которых я сейчас говорю; у вас нет худших и злейших врагов, чем знатные, великие и богатые: они вас грабят, они вас мучают, они делают вас несчастными“. Живописцы ошибаются, рисуя дьяволов в виде безобразных, противных чудовищ. Их следует изображать в виде этих прекрасных господ или в виде прелестных дам и девиц, наряженных, напудренных, завитых и блистающих золотом, серебром и драгоценными камнями. Дьяволы, которых рисуют проповедники и художники, существуют лишь в воображении: они могут внушать страх только детям и невеждам, они не могут причинять реального зла. А эти дамы и господа вполне реальны как реально причиня-

3X Второе зло особенно процветает во Франции и состоит в том, что насчет народа живет множество людей совершенно для него бесполезных. Но этого мало: обязанность многих из них в том и состоит, чтобы грабить и угнетать народ. Справедливо ли, чтобы этот самый народ их содержал? Это относится, конечно, не только к тем канальям, которые из нищеты делают себе ремесло, вместо того, чтобы заниматься полезным и честным трудом. — Это относится также и к богатым бездельникам. Под тем предлогом, что у них достаточно доходов, они не занимаются никаким трудом, но живут в непрерывной праздности, заботясь лишь о прогулках, играх, развлечениях, сне и еде, вообще, о том, как приятнее провести жизнь. Ясно, что все эти бездельники как богатые, так и бедные, не приносят обществу никакой пользы, живут на счет чужого труда.

Самый многочисленный разряд туесадцев — духовенство, — все эти аббаты, приоры, каноники, монахи и монахини. И включение делает Мелле только для священников и епископов, так как в числе их обязанностей есть одна, действительно, полезная для общества — моральное воспитание паствы. Все же остальные, — а в римской церкви, добавляет Мелле, их много и притом самых различных сортов, — какую пользу приносят они миру? — Никакую. Какие услуги оказывают они обществу? — Никаких. Что они делают в приходах? — Ничего. А, между тем, именно, эти элементы духовенства наиболее обеспечены в материальном отношении. Особенно странно смотреть на монахов. Они дают обет бедности и отречения от мира сего, тишины и суеты, их долг — умерщвление плоти и покаяние, а в то же время они обладают богатствами и живут в свое удовольствие. У них роскошные сады, дворцы, кухни, в которых имеется все, чего только они могут пожелать. У них значительные имения, им же идет часть десятин, и часто они еще пользуются сеньориальными правами. Словом они в

били живут, где не сеяли, и собирают, где не рас-
пали. Одно аббатство обладает такими богатствами, ка-
ких не имеет ни один итальянский государь. Какое бе-
зумие предоставлять столько богатства в руки людей
которые должны жить в бедности и покаянии! Какое
безумие предоставлять столько богатств людям, которые
не делят ничего стоящего и совершенно бесполезны.
Какое безумие содержать этих людей насчет труда
других! Пбо, *„хотя они и обладают богатствами, но эти
богатства приносят доходы, лишь благодаря труду дру-
гих людей“*. Не лучше так называемые ниществующие
монахи. По правилам св. Франциска они обязаны трудом
снискивать себе пропитание и только при невозможности
заработать достаточно имеют право прибегать к подая-
нию. На самом же деле большинство нищенствующих
монахов живет на общественный счет, и лишь немногие
из них оказывают обществу какие либо услуги. А кор-
мятся они очень хорошо: все живут в изобилии. Почему
же, осуждая попрошайничество светских, разрешают его
духовным, ко орые, ведь, должны быть солью земли и
светом мира? Разве это согласно с писанием? Откармли-
вать духовных кровопийцев, в то время, как лучшие
рабочники, занимаясь целые дни полезным трудом не
имеют часто самого необходимого — вопиющая неспра-
ведливость. Час хорошего труда стоит больше, чем все,
что делают монахи.

Помимо людей бесполезных на общественный счет
содержатся и такие, которые приносят народу явные
убред. К числу их Малье относит юристов, откупщиков
винных надсмотрщиков, сборщиков податей и, наконец
шлютов, каналей и мошеников солиного и табачного
надзора, которые шатаются по стране и разыскивают
свою добычу“. Все они радуются разорению бедных
людей и веселятся когда могут кого-либо захватить в
свои лапы. Во Франции не меньше 40 или 50 тысяч
людей работают народ под тем предлогом что они сле-

жат королю и собирают его deniers. Но к этому числу нужно еще прибавить солдат, которые тоже грабят и тащут все, что только найдут.

„Природа достаточно плодородна — с сочувствием цитирует Мелье Фенелона — чтобы дать еще, что нужно, бесконечному числу умеренных и трудолюбивых людей, но гордость, изнеженность и тунеядство одних повергают других в бедность и нищету“¹⁾.

- 5) Из сословного неравенства вытекает еще одно зло. Люди, принадлежащие к семьям различного общественного положения, презирают друг друга, как будто одни по самому своему рождению лучше других, как будто они люди различных рас. Это — явная несправедливость, так как о человеке следует судить на основании его личных качеств и заслуг, а не на основании заслуг родителей или другого. Между тем, из этого презрительного отношения к другим вытекают в высшей степени пагубные последствия. Те, кого судьба поставила выше других воображают, что они стоят гораздо больше, чем эти другие. У них является стремление к господству, они всех желают подчинить своим законам, как будто они рождены, чтобы повелевать, а все прочие — чтобы им повиноваться и быть их рабами. Они — высшая порода. Простые люди должны быть счастливы даже тем, что служат им. Отделяя себя непроницаемой стеной от низших, они становятся нечувствительны к страданиям народа. Только собственное несчастье иногда смягчает их сердце. Тогда они начинают чувствовать, что и они люди, что нужно жалеть себе под бных.

Переходя от критики социального строя старого порядка к критике строя политического, мы должны сделать одно предварительное замечание. Принципиальная критика абсолютизма незаметным образом сливается у Мелье с критикой его конкретных проявлений во Фран-

ния начала XVIII в. Обе стороны так тесно связаны друг с другом, что пытаться их разъединять—значит бы провозвести насилие над мыслью Мелле, лишить ее характерной своеобразности. Мелле в критике общественных отношений менее всего отвлеченный мыслитель: это — человек, который непосредственно испытывает их страдание. Страдание он и излагает в своей книге. Страдание и вызываемые им чувства: гнев, ненависть, иногда отчаяние—таков ее основной тон. Освобождая мысль Мелле от этой окраски чувства, мы неизбежно представили бы его „Завещание“ в совершенно искаженном виде.

На критике политического строя Мелле останавливается особенно подробно, посвящая ей целых шесть глав „Завещания“. Это будет для нас вполне понятно, если мы припомним, каковы были последствия внутренней и внешней политики французского абсолютизма XVII—XVIII веков для французской деревни.

Все властители, все короли и князья—тираны,—такое основное положение Мелле. Они властвуют над всею землей и без конца угнетают подвластные себе народы своими законами и повинностями. Платон дает такое определение понятию тиран: человек, который имеет возможность делать в государстве все, что ему угодно. Под это определение подходят все властители. Они так далеко заходят в своей гордости и наглости, что приводят в защиту своих законов и повелений один единственный довод: такова наша воля; или по-латыни: sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas. Еще пророк Самуил дал прекрасную характеристику царской власти, предсказав израильтянам, какие мучения ждут их от царей. Когда израильский народ просил Самуила дать ему царя по примеру других народов, то Самуил, чтобы внушить израильтянам отвращение к этой мысли, нарисовал перед ним яркую картину будущего. „Знайте, каковы будут те мучения, которые вас ожидают, когда вы

дочерей. Они заставят их служить себе. Одних они поведут на войну, где им будет грозить ежедневно смертельная опасность, другие будут состоять при особе царя и прислуживать ему, третьи будут обрабатывать царские земли, как рабы, купленные за деньги. Цари отымут у вас ваши имущества и ваши стада, чтобы дарить их своим любимцам и евреям. Ваши дети и вы будете подданными не одного только царя, но и его слуг. Этот пророк, замечает Мелье, любил справедливость и потому не любил царской власти.

Ни одно пророчество не исполнилось в такой мере, как это. Особенно ясно это можно видеть на примере Франции. Короли—как бы маленькие боги; их льстецы убеждают их, что им принадлежит абсолютная власть над жизнью и имуществом подданных. И они не жалеют ни этой жизни, ни этого имущества: они приносят все в жертву своей славе, своему честолюбию, своей жадности или своей мстительности. Чего только они не делают, чтобы получить все золото и серебро подданных. Они налагают под разными пустыми и ложными предлогами подати, добавочные подати вспомогательные подати и т. д.; они их удваивают и утраивают по своей прихоти. Почти каждый день издаются новые приказы, клонящиеся к тому, чтобы заставить народ доставлять королю все, чего он требует. Если же народ не может платить, то в деревни посылаются солдаты и подобные им канальи, к торжеству и швабам и т. п., причем народ должен еще их содержать. Они не считают. Напрасно ссылаться на бедность—жестокие выслушивают, а если и обращают на них внимание, то на манер Ровоама, который ответил народу, жаловавшемуся на чрезмерные тяготы, наложенные его отцом: *“pater meus coecidit vos flagellis, ego autem coecidi vos scorpionibus”* ¹⁾ Принцип королей и их первых министров известен: на

¹⁾ Отец мой бил вас бичами, а я буду бить вас скорпионами.

необходимо высосать народ, сделать его нищим, и держать его в покорности, чтобы он не был в состоянии ничего предпринять против их власти. Они дают обещаться на счет народа финансистам и сборщикам, чтобы затем ограбить и их, пользуясь ими, как губкой, которую дают наполниться, чтобы затем выжать. Они все стараются сеять раздоры среди народа, чтобы сделать невозможными заговоры против них. И налоги в этом отношении для них — великолепная вещь. Талья (одна из главных налогов, падавших на крестьян) обогащает короля и истощает народ, с одной стороны, а с другой вызывает между отдельными лицами бесконечные споры и тяжбы. Распределение талли в приходах рождает вечные ссоры и ненависть. Эти несчастные, ссорясь друг с другом, отвлекаются от единственной и истинной причины зла — короля и его министров. Они не имеют достаточно смелости, чтобы объединиться в общие усилия свалить его одного человека; они не осмеливаются даже проптать открыто против него, и своему чувству гнева и злобы они дают выход во взаимной грызне. Под страхом сурового наказания, — конфискации имущества и заключения в тюрьму, — бедный народ отдает свою последнюю копейку. Это его становится еще более невыносимым, благодаря насильству и взысканию тех, кто участвует в сборе податей. Но такого маленького чиновника, сборщика или надсмотрщика, который не считает себя в праве гробить и обижать народ.

Но прямые налоги — только часть того, что народ платит королю. Помимо еще налогов на различные товары: на вино на мясо, на соду, на сало, на масло, на шерсть, на кожу, на соль, на бумагу и на табак, приходится платить за право ввозить и вывозить товары, за венчание, крестьянские дани и т. п. Для торговли необходимо иметь огромное количество всевозможных документов. Эти документы можно сме-

липисе. Если кто-либо, торгуя без документов, попадется в руки страже этого зверя короля, то ему грозит конфискация товара, тюрьма галеры, иногда даже позорная смерть. Если бы это было возможно, то король, наверное, заставил бы платить за ветер и за тучи.

Мелье приводит ряд примеров количественного роста податей, а наряду с этим отмечает и изменение в самой постановке налоговой системы. Короли постепенно превращают все временные налоги в постоянные и освобождают себя от обязанности испрашивать разрешение на сбор налогов у народного представительства—генеральных штатов. Мелье вполне согласен с известным писателем XVII века де-Коминном, что налагать налоги без согласия тех, кто должен платить, могут только тираны и насильники. Никакая крайность не может этого оправдать. Пример Марка Аврелия показывает, как должен поступать в случае нужды понимающий свои обязанности император (так как в настоящее время нет, замечает Мелье в примечании). Истощив свою казну в войне с германцами, Марк Аврелий не пожелал налагать на своих подданных чрезвычайные налоги и предпочел распродать императорские сокровища и таким способом пополнить дефицит. Без разрешения народа ни один государь не имеет никакого права облагать своих подданных. Вывод о необходимости созыва Генеральных Штатов Мелье, однако, не делает. Его идеал—не ограничение, а уничтожение королевской власти, частичные же улучшения его не интересуют.

Абсолютизм разрушает благосостояние народных масс не одними налогами. Войны в этом отношении не менее важны. Когда у королей является желание расширить свои владения, то эта прихоть удовлетворяется ими на счет жизни и имущества бедного люда. Для армий нужны солдаты—их берут, по доброй воле или против воли,—как придется; для содержания армий нужны деньги и провиант—и это берут. Мало того. Народ подвергается

постоянным насилием и грабжам со стороны собственной армии они отнимают у народа все, только найдут. А когда армия проникает в незнакомую страну, то тут уже она всё предаёт огню и мечу. Ни один король не был таким асоциальным повелевателем и ни один не считал своего народа таким несчастным, как Людовик XIV. Ни один король не пролил столько крови, не разорил столько провинций и городов. Сколько людей он погубил, сколько вдов и сирот проливают из-за него слезы. И его прозвали великим! Конечно, и за великие и достойные подвиги деяния таких за ним нет, а за великие несправедливости, великие опустошения, великие убийства, виновников которых он был.

В виде общего вывода Мелле вновь повторяет свой основной тезис: все короли — тираны, в особенности короли Франции. *Не народы созданы для правителей, правители для народов, их можно с полным правом звать слугами общества.* Но, если так, то обязанности правителей состоит в обеспечении народам спокойствия и безопасности, хотя бы ценою собственной жизни. Разница между идеальным правителем и тираном такая: первый любит своих подданных, как отец детей, и любит ими, второй смотрит на подданных, как на рабов и они его ненавидят; первый рискует собой для блага народа; второй приносит народ в жертву своему тщеславию; первый подчиняется закону, второй желает, чтобы ему все было позволено. Даже защитники абсолютизма (напр. Ришельё) призывают, что цель короля — благо народа, это — центр, к которому тяготеет их деятельность. Ясно, как мало соответствует действительность этому идеалу¹⁾.

Но льстецы королей утверждают иное. Они говорят, что короли — абсолютные и единственные повелители са-

их государств что они имеют право объявлять войну и заключать мир, что они могут, не спрашивая никого, вводить налоги и увеличивать их, издавать законы и повеления. Они убеждают королей, что всякие реформы опасны, что благосостояние располагает народ к мятежам, что только нищета делает его покорным. И короли поддаются влиянию этих льстецов. А между тем, это — явная ложь. Гордость и обиды сильных, множество туземцев, сидящих на шее у народа, неспособность королей и их невнимание к нуждам народа — вот причины революций. А если оставить рабочему кусок хлеба, того хлеба, который он сам заработал и потел лбом, — неужели он может из-за этого восстать? Революция вызывается страданиями, а в страданиях народа всегда виноваты сами короли, которые должны были бы заботиться о благосостоянии народа.

В взломанных нами частях „Завещания“ Мелье является исключительно в роли критика социальных и политических основ старого порядка. Правда, и здесь мы уже встретили два шлепков, которые, судя по последовательно развитым, могут вывести далеко за эти пределы. Это, во первых, та мысль, что право пользоваться продуктами — частью благ земных — связано с обязанностью заниматься полезной работой, а во вторых, признание экономической истины, что и действительно труд является источником богатства.

Мы рассмотрим эти подожженные нити в связи с социальными идеями Мелье. Сперва же остановимся на двух вопросах: что нового привнесло с остальной оппозиционной публицистикой эпоха XVII и начала XVIII в дает нам Мелье в критике старого порядка что оригинально в этой критике под влиянием влияний сложились взгляды Мелье на этот злодейский трюк и особенно на абсолютную монархию?

Если мы будем сравнивать Мелье — тем единственно в изыскательном на — те же XVII и XVIII — а дворянски чи-

новническим направлением оппозиции, которое представлено Вобаном и Буагильбером, то мы найдем между ними два весьма существенных различия. Вобан и Буагильбер, обсуждая причины бедственного положения французского народа, все свое внимание сосредоточивают на одной стороне вопроса — на государственной эксплуатации; эксплуатация феодальная затронута ими в весьма слабой мере. Возможно, что эта неравномерность обусловлена отчасти социальным положением авторов, — мы знаем, напр., что Вобан сам был очень крупным землевладельцем. Но, несомненно, здесь могла действовать и другая причина, отмеченная уже выше: для Вобана и Буагильбера, как для наблюдателей со стороны, феодальная эксплуатация могла казаться чем-то малозначительным по сравнению с тяжким бременем, наложенным на крестьян государственной властью. Мелье же, стоя гораздо ближе к их по своему социальному положению, и по своему настроению к крестьянской массе, не мог, подобно им, видеть единственную причину зла в личном направлении притеснительной политики, не мог игнорировать социального неравенства, не мог не принимать в расчет феодальных поборов, как бы были эти поборы ни ничтожны.

Есть и еще одно, не менее важное различие. При всей резкости своих нападок на абсолютизм, и Вобан и Буагильбер совершенно не берут в расчет принцип абсолютизма. Критикуя недостатки администрации, становятся жеманщиками. Их идеал ничем не отличается от идеала Ренессанса, — человек, любящий свой народ, обрекающий свой его на благо, забывающий о его благе, когда он действительно констатирует, что чиновники Мелье негодны. Они не только не являются пессимистами и в то же время не являются реакционерами, смотря на монархию с горем в душе. Они видят, когда она становится добрых монархов, и тогда они не менее горячо отстаивают ее, чем когда она становится дурной. Но эта горячность не имеет характера

нем любого из философов, любого из публицистов XVIII в вплоть до Руссо,—вряд ли мы найдем хоть одного, который был бы столь последователен в своей критике старого порядка.

По отношению к народу Мелле настолько же оптимист, насколько пессимист по отношению к правящим. У него нет совершенно того страха перед народными массами, который так характерен для народолюбивой интеллигенции даже более поздней поры — середины и конца XVIII в. Нет никакого сомнения, что Мелле был бы возмущен до глубины души знаменитой фразой Руссо о том, что рабов надо сначала сделать *достоинными* свободы и *способными* ее переносить, а затем уже их освобождать. Его демократизм не допустил бы этого. У него не было мысли о том, что народу должен кто-то дать свободу, только сам народ может ее добыть. Он был слишком близок к народу, чтобы бояться его, чтобы считать его недостойным свободы. Во всей французской публицистике XVIII в. нет более решительного демократа, более последовательного защитника интересов крестьянской массы.

С этим тесно связана еще одна особенность „Завещания“,—о ней уже приходилось говорить. Это—то чувство, которым пропитана каждая его строка. Оно не имеет ничего общего с чувствительностью, столь свойственной XVIII в. вообще, школе Руссо—в частности. Не слезоточивое сострадание к обездешеным, а ненависть к угнетателям составляет ядро „Завещания“,—та ненависть, которая одна только делает возможным революцию. Таким образом, последовательный, не знающий компромиссов, демократизм и революция вовсе чувство—таковы особенности критики старого порядка в „Завещании“, заключающие ей совершенно особое место в оппозиционной литературе XVIII века.

Ответив на первый вопрос мы уже частично подготовили ответ на второй. Дело в том, что Мелле не был

вой жизни—источник революционного настроения Мелье. Только непосредственная близость к народу, только действительное страдание его страданиями сделали из Мелье демократа и революционера. В той же жизни и источник его односторонности. Народ для него—крестьянство. Городов и городского населения как будто вовсе не существует. Разумеется, было бы нелепо ставить это в упрек Мелье. Условия его личной жизни сложились так, что деревня с неизбежностью выдвигалась на первый план. А развитие промышленного пролетариата не достигло еще в начале XVIII в. такой степени, чтобы вывести мысль Мелье за пределы личного кругозора.

Переходим к литературным влияниям. Мелье, как мы видели, отнюдь не был невеждой, и книжные знания послужили ему великолепным орудием в той работе, основное направление и цель которой были даны жизнью. Не говоря уже о том, что он прибегает часто—может сказать, чаще, чем следует—к длиннейшим цитатам и иной раз ничего не прибавляющим к кратко изложенной и по обыкновению резко формулированной мысли самого Мелье, мы легко можем заметить влияние протестантских писателей и в тех частях „Завещания“, где он говорит от своего имени. Особенно резко бросается в глаза это влияние там, где идет речь о монархии вообще, где излагается, так сказать, теория монархии. С совершенно ясно, что все основные черты этой теории заимствованы у монархистов XVI в.¹⁾ притом почти неизменной форме. Возьмем основное положение: „народы созданы для князей, а князья для народов, и можно называть слугами общества“. Связь этого положения с учением монархистов несомненна. Такую же

1) Монархисты—политическое мыслители, служившие абсолютной монархии, доказывавшие, что верховная власть принадлежит народу. Ср. Gierke, I. Altmeppen, *Lebende Deutungen der Lehre des Reiches* (Leipzig, 1908).

происхождение и всей остальной теории. И отрицание принципа абсолютной власти монарха, и мысль о подчинении монарха закону, и противопоставление монарха истинного и тирана,—все это может быть сведено к тому же источнику. По мнению Буше, напр., пользоваться формулой „такова наша добрая воля“¹⁾, говорить „мое государство, мое королевство, мое духовенство, мое дворянство, мои подданные“,—значит узурпировать права церкви и народа. Свобода власти от подчинения закону не признается монархонами не только по отношению к правителю, но и по отношению к самому народу. Правда, у монархонах имеется отсутствующая у Мелье классификация монархов на *politice regentes* и *tyranice regentes*, т.-е. правящих по законам и тиранов. Для Мелье же добрый король (*bon roi*) или *politice regens*—лишь идеал, он отводит для него лишь отдаленное легендарное прошлое. Все же реальные короли—тираны. Но и эта мысль Мелье является лишь дальнейшим развитием мысли Омана, утверждающего, что неограниченная власть имеет естественную тенденцию к тирании, и особенно Ла-Бозси, у которого эти два понятия совершенно сливаются.

Близость Мелье к монархонам любознательно отметить. К вопросу об их влиянии нам еще придется вернуться.

III.

С критикой тех основ старого порядка, которые должна была вскоре разрушить великая революция, сплетается у Мелье критика частной собственности и семьи, начал, оказавшихся для той же революции священными и неприкосновенными. Для самого Мелье грань, отделяющая принципы, в его время уже отживавшие, от тех, которым была суждена еще долгая жизнь и долгое господство,

¹⁾ Такова была старинная форма королевских повелений.

совершенно нечувствительна. Но нам, в целях ясности и отчетливости изложения, приходится выделить социалистическую критику общества и коммунистические на Мелье из всей совокупности его социально-политических идей.

Среди критиков существующего общественного строя самую влиятельную группу составляли в XVIII в. сторонники демократии мелких собственников. Во главе этой группы стоит один из популярнейших мыслителей XVIII в.—Руссо. Группа Руссо защищает интересы отчасти отражает настроения масс населения, страдающих от капиталистического развития: мелкого городского и особенно деревенского люда. Прогресс для этих общественных слоев—разрушительная сила, отнимающая собственность, превращающая хозяина-мастера или крестьянина в батрака, сводящая до минимума заработок самостоятельного производителя, бессильного против конкуренции крупных предпринимателей. И их теоретики мечтают повернуть назад ход истории, задержать развитие индустрии и торговли, обеспечить неприкосновенность мелкой собственности, помешать накоплению капиталов. Они видят, что неограниченное господство частной собственности ведет с неизбежностью ко всем тем бедствиям, с которыми они борются. Следовательно частная собственность сама по себе есть зло. Это положение приводит их иногда к чисто социалистической теории. Но, переходя к практическим мерам, они тотчас возвращаются к частной собственности: без нее для них не может существовать общество. Самые решительные из них требуют всеобщего передела земли, мелкие нестчуждаемых наделов; более умеренные довольствуются законами против роскоши, стеснением торговли, запрещением и регламентацией наследования. Социализм для них—орудие критики, но отнюдь не план их идеального строя. Их руководящая идея—не уничтожение частной собственности, а уравнение имуществ более и

менее радикальное. Поэтому, эгалитаризм — наиболее подходящее название для характеристики этой группы. Помимо Руссо, к эгалитаристам близок и аббат Мабли, более симпатизирующий коммунизму в теории, но все же крайне умеренный в своей практической программе.

Мелье наряду с Морелли является представителем иного крыла социальной критики XVIII в., — крыла последовательно коммунистического. Для Мелье в противоположность Руссо социализм — не только оружие разрушения старого, но и план постройки нового общественного здания. Группа коммунистов, к которой принадлежит Мелье, в XVIII веке немногочисленна и неособенно популярна. Ее естественная аудитория — городской и сельский пролетариат еще очень далека от сознания своих классовых интересов. И все же всякий, интересующийся развитием общественной мысли, неизбежно заинтересуется и этими предтечами великого социалистического движения XIX в. Голоса таких одиночек, как Мелье, редко становятся достоянием истории. Между тем, они для истории далеко немаловажны. Мало того, что своей скромной, незаметной и неблагодарной работой мысли они расчищают путь для писателей иного, лучшего времени. Они интересны и для характеристики своей эпохи. Мелье кажется нам сейчас мыслителем совершенно одиноким. Но почему мы знаем, сколько было еще людей, подобно ему заброшенных судьбой в глухие деревни, отрезанных от общения с литературным миром, подобно ему болезненно чувствовавших всю несправедливость окружающей их жизни? Почему мы знаем, наконец, какие смутные мечты и чаяния бродили в среде самой обездоленной массы?

*Одно из самых распространенных зол общественной жизни, — говорит Мелье, — состоит в том, что все блага и богатства земли находятся в частной владении*¹⁾

¹⁾ Testament, II, 210.

Последствия этого зла весьма пагубны. При частом владении и пользовании богатствами каждый стремится иметь их как можно больше и приобретать их как угодно (средствами); ибо жадность неиспытна и пружина в человеке есть ее порочные наклонности. Стремление к собственности, это — как бы открытая дверь к деятельности. Люди частью чтобы только обезопасить себя от нужды, частью чтобы достигнуть возможного, удовлетворить все свои желания, ведут ожесточенную борьбу за богатство. Самые сильные, хитрые, ловкие часто самые злые, недостойные, побеждают в этой борьбе и захватывают в свои руки жизненные блага. Возникающее неравенство: одни имеют больше, другие меньше, иногда одни имеют все, другие ничего, у одних прекрасная пища, одежда, жилище, а у других нет ни пища, ни одежды, они погибают от холода и голода. Одни жиреют и опиваются в то время, как другие умирают от голода; одни живут в вечной радости, другие в вечном унижении. На долю одних достается почет, другим унижение. Ибо богатых всегда почитают, бедных презирают. Одни ничего не делают, но отдыхают, гуляют, спят, сколько угодно, и жиреют приятной праздности, другие изнемогают от труда, имеют отдыха ни днем, ни ночью, проливают свою и свою кровь, чтобы только иметь возможность процветать. Словом, одни живут в блаженстве и в радости, как будто в раю, другие в страданиях и в нужде, как будто в аду. Но они совсем рядом, — ад и рай часто отделен друг от друга только шириной улицы, простая стена. Но что наиболее отвратительно: заслужившие райского блаженства очень часто страдают в аду, а заслуживающие адских мук преспокойнейшим образом пользуются блаженством рая. В этом мире награждаются, а добрые получают наказание.

Но и это еще не все. неравенство в распределении богатств порождает среди людей зависть и взаимную

зависть. Начинаются ропот, жалобы, смуты, восстания словом, неисчислимый ряд бедствий. Те, у кого нет даже самого необходимого, вынуждены для поддержания своего существования прибегать к таким средствам, как воровство, убийство, грабеж и т. п. Бедность отцов отражается и на детях. Отцы, необразованные, плохо воспитанные, голодные, не имеют ни желаний, ни возможностей лучше воспитывать, обучать и кормить своих детей. Поэтому они и живут свою жизнь в невежестве, грубости, разврате, нищете.

Итак, частная собственность и неизбежно с нею связанная борьба за существование — источники неисчислимых зол и бедствий. Невольно возникает вопрос: нарицательная Мелле картина борьбы за существование, в которой побеждают более приспособленные, т. е. более хитрые и злые, является ли результатом наблюдений над окружающей жизнью, или это только чисто теоретическое построение, имеющее целью объяснить происхождение неравенства и заимствованное из какого-либо литературного источника. На вопрос, поставленный в такой форме, трудно дать определенный ответ. Несомненно, в приведенном отрывке „Завещания“ очень мало конкретного; читая его, чувствуешь, что речь идет о некотором общем законе а не о жизненном процессе, непосредственно наблюдаемом автором не о Франции XVIII в., а о человеческом обществе вообще, о законах его развития. Лишь там, где Мелле переходит к изображению самого неравенства, слышится вота сочувствия реальному человеческому страданию. К тому же с геориями, считающими частную собственность причиной неравенства, Мелле, несомненно был знаком еще в семинарии: не даром же он изучал классиков. Но если мы даже признаем теорию Мелле простым заимствованием, то это не освободит нас от необходимости ответить на новый вопрос: что predisполагало Мелле к принятию именно этой теории? Если мы и здесь попытаемся от

вернуться от жизни, то нам останется один исход — отлить все на случайности самопроизвольного переселений.

Мы указывали, что в середине XVIII в. каталогические формы начали уже проникать в сельское хозяйство. Источники, — показания современников. — говорят о существовании в деревне предпринимательских рабочих. Трудно судить, как далеко зашла пролетаризация крестьянства ко времени Мелье. Капиталистическое развитие деревни, как мы видели, сильно тормозилось общими условиями старого порядка. Но вызванный условиями кризис вовсе не был благоприятен для широкого слоя деревенского населения. В частности, пролетаризация, распродажа крестьянских участков усиливалась благодаря кризису. При этом, вследствие спроса на рабочие руки в связи с недостаточно быстрым развитием капитализма, пролетаризация была равносильна общинам и принимала такие формы, которые должны были особенно сильно действовать на умы современников.

Эти-то впечатления и были, думается, источником настоящего отношения Мелье к институту частной собственности. Факт обезземеления и скупки земли, помещенный в сравнительно узкой области на фоне постоянного царящего неравенства, послужил толчком, заставившим мысль Мелье работать в этом направлении, заставившим его вспомнить старую теорию и утвердиться в ней. Так получился общий закон, объясняющий происхождение неравенства вообще.

Не оставлена в „Завещании“ без внимания и другая основа буржуазного строя — семья. Мелье не отрицает индивидуальной семьи вообще. Но он — решительный противник нерасторжимости браков. Что получается от этой нерасторжимости? — спрашивает Мелье — Непрерывное количество несчастных людей, мужей, вдов, несчастных с детьми женами и детьми, которые не могут

с вливыми мужьями. Они уже не любят друг друга; они уже не могут мирно ужиться, вечно бранятся и проклинают свой брак, а порвать законным образом связывающей их цепи не могут. Чтобы избавиться от ненавистной связи, люди идут даже на убийство.. Несчастливы мужья и жены; но несчастны также и дети. Не говоря о том, что они видят ежедневно ссоры между родителями, что служит им дурным примером; родители не обращают внимания на их образование и воспитание, так как им не до того, чтобы думать о детях.

Итак, самая основная норма современного общественного строя является матерью всех зол. Как же его перестроить, какие новые основы ему дать? Теоретическая почва на которой воздвигается у Мелье здание идеального общества, нам уже отчасти известна. Мы знаем, с одной стороны, что „природа может дать пропитание неограниченному количеству людей“, с другой стороны, что единственный источник дохода — человеческий труд. Как вывод из этих двух положений, получается норма естественного права: все имеют равное право на часть благ земных, но при условии выполнения обязанности трудиться. *Равенство в труде и наслаждении* — вот цель и смысл коммунистического идеала Мелье. Его коммунизм не ограничивается поэтому сферой производства, но простирается и на потребление. *Тогда должны владеть всеми благами и богатствами земли сообща и на равных правах и пользоваться ими также сообща и равномерно* ¹⁾ Все жители одной местности, напр., одного города или одного прихода должны составлять как бы одну семью. Они должны любить друг друга, как братья и сестры, должны жить вместе, пользоваться одинаковой или подобной пищей, иметь одинаково хорошее жилище, одинаково хорошую одежду. Но, с другой стороны, все обязаны принимать участие в труде, каждый сообразно

¹⁾ Testament, II, 210.

своей специальности. Работы должны распределяться между членами общины по временам года в зависимости от потребности в тех или иных продуктах и от удобства их производства.

Как видим, Мелле совершенно чужда идея права на труд. Труд для него — обязанность. Говорить о праве на труд в его идеальном обществе нет поэтому никакого смысла. Конструкция социалистического общества в этом принципе не нуждается. Впрочем, идея права на труд настолько тесно связана в своем происхождении с развитием промышленного пролетариата, с существованием резервной рабочей армии и периодическими кризисами, что ее отсутствие у писателя начала XVIII в. понятно и само по себе, без дальнейших объяснений.

В приведенной нами схеме коммунистической ячейки большую роль играют моральные чувства. Можно подумать, что на взаимной любви и должно держаться это маленькое общество. Мы имели бы тогда перед собой разновидность коммунистического анархизма с ярко выраженной моральной окраской. Но на самом деле этого нет. Мелле вполне признает необходимость власти. Никакое человеческое общество, говорит он, даже будучи хорошо организовано, не может само собой сохранять порядок без некоторой зависимости между его членами от позитивности одних другим¹⁾. Эта необходимая позитивность не должна лишь нарушать закона справедливости, она не должна одних черезчур возвышать, а других унижать, одним давать все, а другим ничего. Иначе она обращается в тиранию. Такая справедливая субординация должна существовать и в коммунистическом обществе. Функции власти сводятся, следовательно, к организации производства и распределения. Точных указаний на это у Мелле нет, но это необходимо было

кает из его оптимистического взгляда на нравственное совершенствование людей при коммунистическом строе.

Между отдельными общинами должна существовать федеративная связь. Для сохранения мира и для взаимной помощи в случае нужды они заключают союзы. Без взаимной помощи их благосостояние непрочно.

Остается неясным вопрос, как представляет себе Мелье организацию власти. С одной стороны, руководство общиной должно, по его мнению, принадлежать наиболее мудрым и опытным; в одном месте он даже прямо говорит—старцам¹⁾. С другой стороны, он защищает выборное начало. Думал ли он, что при выборах естественно выдвинутся опытные старцы или предполагал какое либо ограничение избирательного права, сказать трудно. Возможно, что над деталями он, вообще, не задумывался. Интересно, что такое же сочетание двух принципов—демократического и патриархального, находим мы в самой разработанной социалистической системе XVIII в.— у Морелли. Что касается Мелье, то у него тут сказалось, несомненно, влияние того института, по типу которого он строит свою ячейку, т-е семьи. Но в том же вопросе об организации власти имеется между Мелье и Морелли важное различие: Морелли—проповедник централистического социализма, Мелье—общинного. Эта особенность в системе Мелье объясняется, конечно, тем, что во всех своих построениях он исходит из круга крестьянских, сельскохозяйственных отношений. У него нет сознания необходимости широкой, народно-хозяйственной организации, так как самая идея народного хозяйства находится за пределами его кругозора. Вообще, экономическая действительность XVIII в. далеко не в такой степени благоприятствовала распространению идей централистического социализма, как торгово-промышленное развитие XIX в. Мелье со своей коммуни-

¹⁾ Testament III 379

стической общиной тесно примыкает к традиции средневекового коммунизма и коммунизма реформации. С религиозно-народным коммунизмом он связан самыми тесными идейными узами. Наоборот, влияния утопических централистов вроде Мора или Кампанеллы мы у Мелле совершенно не замечаем. Мор со своим централизмом опередил свое время. Мелле не смог подняться до господствовавшими в его эпоху хозяйственными отношениями. Но мы отнюдь не должны ставить из-за этого Мелле рядом с общинными коммунистами XIX в. XIX в. призыв к общинному коммунизму имел совершенно реакционный смысл. То, что должно было быть ясно в эпоху Оуэна, в XVIII в. было догматом для особо одаренным прозорливцам.

Как материальные, так и нравственные последствия смены личной собственности коллективной будут по мнению Мелле поразительны и покажутся неожиданными для бегляков. Никто ни в чем не будет нуждаться, всякий будет получать в общине необходимые для него для детей пищу, одежду и жилище. Не будет обманов и уловок, к которым теперь прибегают, чтобы поддеть ближнего, не будет процессов, исчезнет зависть, так как все будут приблизительно равны. Не будет краж, грабежей и убийств; никто не будет стремиться к чужому кошельку, так как это не будет нужно. Никому не придется надирать в чрезмерной работе; все будут работать, никто не будет праздным, и поэтому каждый будет работать только за себя. „Вы удивляетесь, бедные люди. Вы спрашиваете, почему же вам приходится столько трудиться и столько страдать? Причина очень проста. Вы содержите своих трудом бесконечное количество туземцев, и не только их самих, но и их прислужников. Вы доставляете им все необходимое для их существования и для их удовольствия. Если же труд будет распределен между всеми людьми, то ваша доля труда неизбежно сократится. Вы будете жить счастливее, а трудиться меньше.“ Ма

сказать, что люди будут счастливы если захотят, они смогут жить роскошно. Им будет очень легко построить себе повсюду дворцы, развести прекрасные сады они смогут улучшить способы обработки земли и получать благодаря этому, изобильные урожаи¹⁾.

† Словом, Мелье предвидит при осуществлении коммунистического строя грандиозный подъем производительных сил и быстрое повышение уровня общего благосостояния. Мысли, общая почти всем без исключения социалистическим писателям: наиболее подробно она развита из утопистов—у Фурье, из современных социалистов—у Бебеля. Аскетическое противоположение изобилия и добродетели, которое мы встречаем, напр., у Мабли, у Руссо Мелье совершенно чуждо, как чужда ему вся христианская мораль с ее проповедью самоотречения и смирения. Наоборот, возможность удовлетворять все свои собственные человеку потребности—лучшая гарантия добродетели. Мелье, как мы видим, не сторонник экономического застоя; но само собою разумеется, что объективно его учение, враждебное капиталистическому развитию, было призывом к экономической реакции подобно учениям наших социалистов народников.

Брака, в смысле юридической связи в будущем обществе не должно быть. Женщины и мужчины (будучи в этом отношении совершенно свободны) Они будут сходиться друг с другом, исключительно следуя взаимному влечению. Когда они почувствуют, что им тяжело жить вместе, или что у них явилось влечение к кому-либо другому, они будут свободно расходиться и заключать новые союзы. Тогда не будет несчастных браков, не будет семейных раздоров; как только люди перестанут удовлетворять друг друга, они разойдутся, и только Главнейшим мотивом брачного сожителства будут симпатия и доброжелательство. Улучшится и положение

¹⁾ Le Gaiement II 26.

детей. Они не будут, как часто бывает теперь, с самого раннего детства страдать от нужды, голода и холода. Община будет содержать их на свой счет, будет заботиться об их воспитании и образовании. Целью общественного воспитания должны служить — добродетель, честность, целью образования — приобретение пользы для общества знаний. И дети станут людьми мудрыми и честными, людьми способными служить с пользой своему родному.

Наряду с прогрессивной идеей общественного воспитания здесь приходится отмечать одну реакционную черту — стремление нравственно нивелировать людей при помощи воспитания. Все люди должны руководствоваться в своей жизни одною и той же моралью, одними и теми же правилами поведения. Они не будут тогда видеть своего блага в различных вещах, не будет между ними споров и раздоров, все будут единодушно стремиться к одному и тому же, одинаково понимаемому благу. Мелле не чувствует, что его идеал — полное прекращение умственной и нравственной жизни человечества, застой, за которым неизбежно следует разложение. Это стремление к единообразию чувствуется и Морелли, хотя оно вовсе не связано принципиально идеей общественного воспитания. Скорее всего, в нем следует видеть бессознательный протест враждебной капитализму мысли против надвигающейся вместе с новой городской культурой, пестроты быстро сменяющихся идей настроений, вкусов и мод. Это идеализация старого единообразия веры, дополняющая идеализацию старого, ограниченности экономических отношений. И то, и другое — явления одного порядка, тесно связанные друг с другом.

Полный отказ от регламентации брака составляет оригинальную черту „Завещания“. Почти все социалисты XVIII в., отказываясь от нерасторжимого брака, все же обставляли его целым рядом формальностей, иногда бо-

лее сложных, чем формальности обычного церковного брака. Да и многие социалисты XIX в. склоняются к тому же. Мелье относится гораздо более доверчиво к человеку, к его врожденным нравственным качествам, а именно недоверие, подозрительность и диктуют обыкновенно всевозможные планы вмешательства в брачную жизнь. С другой стороны, у Мелье нет опасливой мысли, перешедшей к позднейшим социалистам от малютузианства,—мысли, что свобода брака так усилит рост народонаселения, что для спасения человеческого рода от голодной смерти придется прибегать к предохранительным средствам. Для него производительная сила природы неисчерпаема.

Замечательно, что часть „Завещания“, посвященная развитию социалистических идей, чрезвычайно бедна цитатами. Лишь у очень немногих из знакомых ему писателей мог Мелье почерпнуть аргументы в пользу коммунизма. Сенека, Овидий, Паскаль и Деяния Апостолов—вот вся литература, которой он здесь пользуется. Ему мало чисто теоретических доказательств. Он ищет исторических примеров и находит их в описании мифического „золотого века“ классической литературы. Представление о золотом веке, с которого начинается человеческая история, о золотом веке, в котором люди жили, не нуждаясь ни в чем, не зная ни частной собственности, ни власти,—мы находим у всех почти греческих и римских поэтов, начиная с Гесиода и кончая Вергилием, Овидием, Горацием, Тибуллом и др. Трудно сказать, верит ли сам Мелье в то, что это действительная история, или, не веря, просто пользуется легендой, как иллюстрацией к собственным рассуждениям. Писатели XVIII в., вообще, поражают своим легковерием по отношению к историческим легендам, легковерием, которое как-то странно сочетается с крайним скептицизмом по отношению к легендам религиозным. Такого же смеси легковерия со скептицизмом находим мы у Мелье. Строго,

можно сказать, придирчиво критикуя христианскую легенду, он целиком остается на почве чисто легендарной истории. Тем не менее, в данном случае он, кажется, не относится к „золотому веку“ вполне серьезно. Слишком быстро проходит он мимо этого мифа, не прибавляя от себя ни одного слова к цитатам из Сенеки и Овидия. При своей начитанности в классической литературе цитат он мог бы привести несравненно больше. Видно, если бы он придавал серьезное значение „золотому веку“, то эта идея должна бы занять центральное место в его философии истории, какое она занимает, например у Руссо или Мабли. Ничего подобного у Мелье мы не находим. Его идеал — впереди. Наоборот, прошлое он склонен рисовать, как мы увидим ниже, в довольно мрачных красках.

С большим вниманием останавливается Мелье на рассказе Деяний о первых временах христианства. И это опять так связывает его с народным коммунизмом средневековья. Повидимому, говорит он, христианская религия в начале своего существования стремилась к осуществлению идеала коммунизма, как лучшей формы общежития. Видно это не только из того, что она проповедывала принципы равенства и братства, но и из того, как жили первые христиане. Они отдавали все, что имели, в общее пользование, и среди них не было бедных. Они изгнали понятие о личной собственности. Если у кого-либо из них была земля, дом или иное имущество, то он продавал все и деньги приносил апостолам, которые распределяли их между всеми, согласно потребностям каждого. Но эта общность недолго среди них просуществовала; жадность скоро проникла в их сердца и разделила их, вернув в прежнее состояние. Тем не менее, чтобы не уничтожить совершенно самый главный член своего символа веры, который они должны были бы охранять больше всех прочих, они его оставили, придав ему совершенно извращенный смысл. Они

связали слово *сошпипион*¹⁾ с воображаемыми духовными благами, с одним из своих таинств и таким путем обожгли главное положение своей религии. Это сделали, наверное, те из первых христиан, которые занимали среди них почетные места и больше других поживились на счет общего имущества.

Не ограничиваясь прошлым, Мелье старается и в современности найти примеры применения коммунистического принципа. И находит, хотя нельзя назвать эту находку особенно удачной. В настоящее время, говорит он, общность имущества сохранили одни монахи; как люди благоразумные, они поняли значение коммунизма. И посмотрите, каковы результаты. Они ни в чем не нуждаются, их дома похожи на дворцы королей, их сады—земной рай, двор—полная чаша. Если бы она вздумали уничтожить общность имущества и разделили их между собою, то каждый из них в отдельности стал бы доступен, как и все прочие люди, всем неудобствам и бедствиям жизни.

Приводя этот пример, Мелье не замечает, что он противоречит самому себе. Ведь раньше, говоря о монахах, он указывал, как на причину их благосостояния, на эксплуатацию ими народного труда. Они—тунеядцы, живущие на общественный счет. И если им, действительно, выгоднее эксплуатировать народ сообща, а не порознь, то это не аргумент в пользу коммунизма.

Один из историков французского социализма XVII—XVIII вв.—Гуго—высказывает предположение, даже уверенность, что Мелье был хорошо знаком с крестьянскими коммунами (*communautes agricoles*) и вдохновлялся этим образцом при построении своей идеальной общины²⁾. Единственно, чем подкреплено это предпо-

¹⁾ *Сошпип*—общий, *сошпипион*—причастие

²⁾ Бернштейн, Гуго, Каутский и др., Предшественники новейшего социализма, русск. перевод, II, 342. Вслед за Гуго

должны — это указание Гуго на существование коммун в Шампани в начале XVIII в. Откуда знает это указание, Гуго не говорит. Между тем противоречит тексту „Завещания“. Мелье говорит ясно и определенно „если у приходов или у светских общин осталась некоторая часть имущества в обложении, то это такая мелочь, о которой не стоить говорить“. Очевидно, ему известны лишь остатки феодального землевладения, сохранявшиеся почти по месту до его времени, а тех коммун, о которых пишет Гуго, он вовсе не знает. У социалистически-склонных в социализму писателей XVIII в. мы ничего всего встречаем описания овернских коммун. Есть указания на то, что такие же ассоциации встречались где-то в других местах. Но относительно Шампани не встретили в литературе ни одного указания. И если их не было в Шампани, то нет ничего удивительного в том, что Мелье о них не знает, так как вносили о них значительно позже. Да и по существу далеко не так соответствуют идеалу Мелье, как мы подумаем на основании слов Гуго. Это были сельскохозяйственные кооперации с добровольно проведенной общностью имущества, но не с эксплуатацией наемного труда. Впрочем, в XVIII в. они находились уже в процессе постепенного разложения.

Гораздо более удивительно, что у Мелье отсутствует фигура „доброго дикаря“. Идеализация дикарей, главным образом американских, не знающих частной собственности, не понимающих слов „мое“ и „твое“, начинается как раз с первых десятилетий XVIII в. „Споры между дикарем и сароном де ла Фонтан“ Геденшвиц в 1704 г., сочинение Лафито о нравах американских дикарей в 1724 г. Наибольшая роль в по-

дикаризации дикаря принадлежала в этот период отци-
визации. А Мел е если верить данным Р. Шрля, и
во время деревенской жизни сохранил связи с неусто-
йчивыми кругами завязавшиеся, вероятно, еще в семинарии.

И был дикарей, и, в особенности, отчасти из своей
Парагвая в иезуитском изображении и гласил о не-
жизни для Мелье гораздо более подходящими правдами,
и процветание монастырей. Если он не упоминает ни
о том, ни о другом, то, повидимому, лишь потому что
идеализация дикаря, как и легенда о „золотом веке“
в прошлом, плохо вязалась с его общими философско-
историческими взглядами. Но об этом придется еще по-
говорить ниже.

Источник отрицательного отношения Мелье к частной
собственности мы склонны видеть как уже было сва-
зано, в пролетаризации и пауперизации крестьянства,
особенно резко и болезненно чувствовавшихся на ру-
беже XVII и XVIII вв. Отрицание частной собственности,
конечно, уже само по себе предрасполагает к
принятию коммунистического принципа, как ее логи-
ческой противоположности. Остатки общинного земле-
владения, в связи с элементами общинного самоуправ-
ления, должны были толкать мысль Мелье в том же
направлении. Недаром община — приход является у
Мелье основной ячейкой коммунистического строя. Но
все-таки вряд ли он мог бы достичь самостоятельно до
строго последовательного коммунизма, не будь у него
под руками уже готовых коммунистических формул. Эти
формулы, известные ему со школьных лет (из класси-
ческой и особенно из христианской литературы), теперь
превратились, под действием бесчисленных впечатлений
жизни, в боевые лозунги, получили вновь значение жи-
вого идеала. В этом смысле влияние „золотого века“
классиков не следует игнорировать.

Что касается современной ему социалистической ли-
тературы, то Мел е ее, кажется, вовсе не знает. Самым

распространенным способом прочтания социалистических идей были в начале XVIII в. фантастические романы. Некоторые из них, напр., „Histoire des Chinois“ Вольтера, по мелочной разрисовке государственного будущего могут быть сопоставлены с современными утопиями в роде известного романа Беллами. Наоборот Мелье детали коммунистического строя, организации производства и распределения намечены только слабо. Никакого влияния романов в „Завещании“ не замечается. Ни об одном из них, если не считать „Телемаха“ Мелье ни разу не упоминает. Помимо книг толчок развитию мысли Мелье в коммунистическом направлении могло дать общение с иезуитскими кругами. Среди людей, прошедших, как и Мелье, семинарскую школу воспитанных на изучении классических писателей Нового Завета, симпатии к коммунизму были в начале XVIII в. распространены довольно широко. Известно, как разрисовывали отцы-миньоны коммунистический быт американских дикарей в противовес индивидуалистическим порядкам своей родины. Отцы же в Америке конечно, сознали несовершенство общественного строя Европы, но в Америке научились ценить преимущества общности благ земных. Наоборот, именно те симпатии, которыми они привезли из Европы, определяли их оценки быта и нравов дикарей. Их дикари несут на себе слишком явные следы обработки в своеобразном христианско-коммунистическом духе. Ничего удивительного в том, что их герои с первыми христианами. Добрый дикарь это лишь удобная форма для пропаганды вполне определенной идеологии. С людьми такого направления мысли Мелье, несомненно, должен был сталкиваться. Конечно коммунизм иезуитов носил известный реакционный оттенок, он прикрывал собою тяготение назад, к старым формам общественного быта со строгой иерархией, равенством и покорностью подвластных, управляемых просвещенной церковью. Мелье коммунизм от это

услона совершенно свободен. Но во всяком случае общение с иезуитской средой легко могло натолкнуть Мелье на круг коммунистических идей. Система же, в какую сложились эти идеи в его голове, разумеется, весьма далека от системы иезуитов.

Заканчивая рассмотрение социалистических идей Мелье, отметим еще один интересный факт: — чрезвычайное слабое влияние естественного права, как особой теории, как особой формы выражения социального и политического идеала. Теория естественного права, унаследованная от политических писателей XVII в., составляла одну из характернейших черт почти всех общественных учений XVIII в. В основе этой теории лежит представление о человеке вообще, — человеке свободном от всего того, что ему дали прогресс культуры и развитие общественных учреждений. У такого отвлеченного человека есть известные склонности и потребности. И с этими потребностями, данными самой природой, неизбежно связано право на их удовлетворение. Оно присуще человеку вне всякой зависимости от постановлений писаного права, его оправдание и обоснование в самой природе человека. Так получается наряду с системой писаного права система права естественного. Первое может согласоваться со вторым, может и не согласоваться.

Понятие естественного, как соответствующего человеческим потребностям, очень близко понятию справедливого и легко с ним отождествляется. Тогда естественное право получает значение справедливого права, правового идеала, „естественный“ порядок приравнивается идеальному порядку. Само собою разумеется, что содержание, вкладываемое в эти формы, может быть в высшей степени разнообразным в зависимости от того, какие свойства признавать в человеке естественными. Последний этап в развитии теории состоит в том, что естественный порядок, сохраняя свои черты идеала, находит себе место в истории человеческого общества, и совершенно

с первоначальным значением слова „естественный“ закрепляется, как ее исходный пункт, как нечто претвующее организации общественного союза. Таким образом, естественное состояние противопоставляется состоянию общественному, а естественный человек человека, вообще, превращается в первобытного человека в джаря.

Теория естественного права была очень удобна для борьбы с установившимися, традиционными отношениям как политическими, так и социальными. Но в этих пределах она годилась для самых разнообразных целей. Стоило допустить, что естественный порядок — неограниченное господство частной собственности и полная свобода экономической деятельности, — и она превращалась в апологию буржуазного строя, в критику всевозможных монополий и стеснений промышленного труда столь распространенных при старом порядке. Наоборот представим себе естественный порядок в виде отсутствия частной собственности, общности земли, всеобщего равенства, и мы получим теорию, если не социалистическую, то во всяком случае враждебную общественному неравенству, неизбежному результату того же буржуазного строя. При чрезвычайной широте и неопределенности понятия „естественный человек“ и то, и другое допущение одинаково возможно. II. действительно, XVIII в. мы можем наблюдать оба эти направления. Наиболее видные представители первого — физиократы, группа писателей экономистов, выступивших в середине XVIII в., первых провозвестников буржуазной политической экономии. Ко второму принадлежали, как последователи демократы школы Руссо, так и крупнейшие социалистические мыслители XVIII в. — Мабли и Морелли.

У Мелье выражение „естественное право“ встречается. Самая идея ему, следовательно знакома. Нормой естественного права он признает равенство людей, их

равное право на пользование всеми благами природы. Но естественное право остается у него как бы внешней формой, совершенно несросшейся с содержанием его учения. Моральные доводы, — о справедливости того или иного общественного явления, — для него важнее, чем доводы естественно-правовые.

IV

Итак, весь общественный строй пропитан несправедливостью. Как-будто две разные расы людей живут в обществе. Одна ничего не делает, наслаждается и поведывает, другая трудится, страдает и повинуется. И первых несравненно меньше, чем вторых. Каким же образом держится эта явная несправедливость? Каким образом меньшинство ухитряется властвовать над большинством и эксплуатировать его? Почему угнетенные терпят и повинуются?

Само собою разумеется, что сильные мира пользуются для поддержания выгодного им порядка прямым насилием¹⁾. Пример такого насилия представляет собой существующая государственная организация. Что делают короли для поддержания своей власти? Они накладывают на страну сеть чиновников: интендантов, губернаторов и т. п., которые обязаны блюсти королевские интересы. Всякий, кто осмелится сопротивляться королевской власти, кто осмелится даже противоречить открыто ее повелениям, подвергается риску быть схваченным этими чиновниками и погибнуть.

Но такие средства не имели бы большого значения, если бы народы, одураченные хитрой ложью, не представляли добровольно свои шеи под ярмо, налагаемое сильными и богатыми. Эта ложь — заблуждения и предубеждения, объединяемые в одно целое под названием

религии. Сильные люди — хитры и ловкие политики. Злоупотребляя легковерием и невежеством масс, с легкостью убеждают их во всем, в чем только захотят, затем заставляют принять с покорностью и уважением свои законы. *Истинный источник всех бедствий, всех недостатков человеческого общества — в тесном союзе видов джессов: духovenства и светских правителей.* Первые — духовенство — заставили себя почитать, как людей исключительной святости, как божественных посланников открывавших волю божества прочим людям, вторые — светские власти — при помощи первых заставили признавать свои законы священными и неприкосновенными, как бы данными самим Богом, открыто почитали себя подобными. Отсюда все предрассудки, заблуждения, ложные божества и идолопоклонство, распространенные по всей земле. Здесь происхождение того, что людей заставляют благочестиво называть религией. В этом союзе основывается власть королей, которые угнетают народ под предлогом управления, которые грабят народ, прикрываясь общественным благом, которые требуют повиновения и уважения, мотивируя эти требования тем, что они получили свою власть от высшего божества. На нем же основывается власть знати и дворян — этих хищных волков, которые унижают народ и отнимают у него все, что только у него есть лучшего. Наконец, на нем же основывается и так называемая духовная власть клира. Служители религии под предлогом, что они доставляют людям духовные блага божественной милости, отнимают у них несравненно более реальные блага; под предлогом, что они ведут людей к небу и заботятся об их вечном спасении, они мешают людям пользоваться счастьем здесь на земле. Они будто бы желают гарантировать людей от воображаемых мук несуществующего ада, и в то же время заставляют их в этой жизни, единственно реальной, испытывать страдания действительного ада. *Будущая жизнь это — только*

редство держать людей в страхе и, вместе с тем, не давать им приходить в отчаяние

Иному может показаться, что религия и политика не могут приспособиться друг к другу. Религиозная враждебность должна осуждать жестокость и несправедливость тиранов; с другой стороны, мудрая политика должна бороться с предрассудками религии. Это должно было бы быть, но этого нет в действительности. Заключив союз, они уживаются великолепно, несмотря на видимую противоположность своих принципов: это—как бы два мошенника, помогающих друг другу. Религия поддерживает правительство, хуже которого не может быть; правительство поддерживает религию, глупее которой не может быть. Духовные приказывают повиноваться властям, как поставленным от Бога под страхом проклятия и вечного осуждения. Светские властители заставляют относиться к духовным с почтением, обеспечивают им хорошие доходы и поддерживают предрассудки, которые проповедают священники под видом религии и культа божества. И народы стонут под этим двойным тяжелым и унижительным ярмом—под ярмом несправедливости и заблуждения.

Вы, может быть, думаете, дорогие друзья,—обращается Мелье к своим читателям,—что я исключаю из числа ложных религий ту, которую мы исповедуем. Ведь, она будто бы заключает в себе чистую истину, почитает истинного бога, ведет людей к вечному спасению. Нет, надо разочароваться во всем, во что заставляют верить слепые невежды или своекорыстные обманщики. Вы не менее обмануты, чем другие. Ваша религия не менее пуста и суеверна, чем любая другая, она не менее ложна в своих основах, не менее смешна в своих учениях и правилах. Вы не меньшие идолопоклонники, чем те, кого вы с презрением называете идолопоклонниками. Все, что вам рассказывают ваши учителя о величии и святости таинств, о достоверности

их воображаемых чудес, о небесных наградах и мучениях, — все это ложь и лицемерие. Все это — хитрыми политиками, обманщиками и лицемерами поддерживается (сильными мира и властителями, которым выгодно держать народ в узде при помощи раскулаков и делать с ним все, что им угодно. А по своему неведению слепо верят и повинуются. И тем, так легко понять, в чем тут дело. Ведь и христианская религия оправдывает и санкционирует злоупотребления существующего строя. Если бы была истинной религией, она должна была бы порицать и проклинать его несправедливость.

Весьма конечно мудрый, добрый и справедливый Бог не может поддерживать такое вопиющее зло, как социальное неравенство или как тирания королей¹⁾. А в сравнении Бога на земле папы, епископы, проповедники не только не защищают народа, но, наоборот, являются самыми наглыми лстецами тиранов. Они гремят на своих кафедрах против малейших пороков, которые они находят у народа, и они немеют (ils des chiens muets), когда видят невероятные пороки владения королей. Они учат, что короли поставлены Богом, что тот, кто им противится, — противится Божьему повелению. Они молятся ежедневно за жизнь тирана, как будто для народа это очень важно: они молятся о успехах их войск, а в случае победы устраивают жественные процессии, поют Te Deum, благодарят за те убийства и опустошения, которые удалось совершить. Так как они знают, что тиранам вечно придется бояться за свою жизнь, то, чтобы доставить удовольствие и уменьшить в то же время грозящую опасность, они торжественно заявляют, что убийство тирана — грех, что учение, оправдывающее тиранию — ересь. Воистину, нужно быть слепым, чтобы

понимать, что эта религия должна, как и всякая другая, дорогие друзья, — восхликает Мелье, — если бы вы знали, какой же вас учат под видом религии, как неосстойно и несправедливо пользуются властью под видом управления, вы почувствовали бы презрение ко всему тому, что вы почитаете, вы почувствовали бы ненависть и негодование к тем, кто вами управляет. Один человек, необразованный и невоспитанный, но ясно сознававший всю несправедливость существующего, выразил как-то пожелание, чтобы все великие и знатные были удушены кишками священников. Это выражение очень грубо, но оно наивно и откровенно, коротко и ярко. Они, действительно, заслуживают этого наказания.

Если мы попытаемся кратко формулировать отношение Мелье к религии, то получим такой ряд мыслей. Религия, как совокупность догматов и правил, есть заблуждение и предрассудок; но это еще не так важно; гораздо хуже то, что религия есть самое сильное средство поддержания существующего общественного порядка, оправдывая несправедливость реальной земной жизни и возбуждая ложные надежды на будущую небесную жизнь; она внушает чувства покорности и смирения угнетенным; играя эту позорную роль, религия так тесно сплетается с основами существующего порядка, что отделить их невозможно; они живут одною жизнью и вместе должны погибнуть.

Невольно напрашивается сопоставление Мелье с удивительным буржуазным критиком религии Вольтером. Вольтер вполне согласился бы с тем, что существующая религия — предрассудок. Он признал бы также, что религия — сильнейшая опора существующего строя. Но вывод он, как известно, делал диаметрально противоположный. То, что для Мелье, как социалиста, было наиболее отвратительно, Вольтер, наоборот, признавал весьма полезным. Государство, по мнению Вольтера, не может

существовать без религии. Если бы Бэйлю ¹⁾ пришлось управлять пятьюстами п селян, говорит он, — то Бэйль непременно начал бы им проповедовать учение о вождящем боге. Без религии общественный порядок погибает. А так как этот общественный порядок Вольтеру при всех его частных недостатках, все же дорог, то он и приходит к известному выводу: если бы Бога не существовало, его пришлось бы выдумать.

Взгляд на религию, как на средство держать массы в покорности, очень распространен среди писателей социалистов. И объективные причины такого отношения к религии вполне понятны. Роль господствующих классов, как пособниц государственной власти, положение занятое ими в социальной борьбе, словом, все то, чем говорил еще Мелле, его достаточно объясняют. И трудно найти другого писателя, у которого борьба против религии носила бы такой страстный и злобный характер, как у Мелле. В его злобных нападках чувствуется личное страдание. Это и неудивительно. Ведь всю жизнь ему приходилось проповедывать то, что он объявлял теперь в торжественной предсмертной исповеди ложью и лицемерием. И, надо думать, долго ему приходилось мучиться и лицемерить, не в последние дни жизни потерял он веру в то, что должен был официально защищать. Какую муку вынес этот человек, такой прямой и нравственно-чуткий по своей натуре! С настроением кающегося грешника приступал он к своей исповеди — „Завещанию“. Ложь религии — это не был для него чей-то чужой грех: нет, это его собственная тяжкая вина. Страстное покаяние вот что скрывается у него под страстным обличением.

Итак, религия и существующий строй общественных отношений тесно связаны как в настоящем, так и в самом своем происхождении. Как же мы должны пред

¹⁾ Визит в XVIII и XIX столетий религии и церкви

ставить себе конкретно процесс возникновения религии? И прежде всего, что было до ее появления? Мелле нигде не дает определенного ответа на этот вопрос. Но у него есть любопытное биологическое положение, из которого можно сделать соответствующий социологический вывод.

Производительная сила природы чрезвычайно велика¹⁾: новые растения, новые поколения людей и животных непрерывно появляются и наполняют землю. Если бы в мире не было зла,—говорит Мелле,—не было смерти и болезни, если бы люди и животные не вредили друг другу, то они размножились бы до невероятных размеров. Земля не могла бы дать им достаточно питания, и они вынуждены были бы умирать от голода. Таким образом Мелле признает неизбежность борьбы за существование в животном мире. Но, если так, то и первобытное состояние должно бы ему представляться в виде *bellum omnium contra omnes* (войны всех против всех). Его невнимание к идее первобытного коммунизма, золотого века, его равнодушие к идеализации дикаря — как будто тоже говорят в пользу этого предположения. Правда, это так непохоже на социалистов XVIII в (напр., Морелли, Мабли) не признавать коммунизма в прошлом, в естественном состоянии. Но это вовсе не так неожиданно. Мелле хорошо знает римского поэта Лукреция и питает большую симпатию к его материалистической философии. Между тем, Лукреций решительно отрицает идею золотого века и представляет первобытного человека грубым и жестоким животным. К сожалению, мы можем лишь строить предположения. Сам Мелле с вершиной игнорирует идею естественного состояния, как игнорирует и другую идею, еще более популярную в XVIII в., идею происхождения государства из общественного договора.

¹⁾ T stament, III, 366

Вернемся к тому, что у Мелье есть. Первые религиозные представления людей имеют своим источником невежество. Древние, напр., верили в то, что люди, чем либо отличившиеся при жизни, после смерти становятся богами. Они верили и во многие другие нелепости. И пока это были только суеверия, неимеющие серьезного значения. Затем из общей массы выделились люди умные, честолюбивые, жадные к богатству. Заметив, как прочие люди легковверны, они вздумали воспользоваться их легковерием для корыстных целей. Выдавая себя за богов или за посланников богов, они заставили людей повиноваться своим приказаниям, как велениям божества, и приобрели таким способом власть, а вместе с нею — почет и богатство.

Весь этот экскурс в прошлое, разумеется, в высшей степени наивен и фантастичен. Зато в своих рассуждениях о настоящем и возможном будущем Мелье больше реалист, чем многие социалисты XIX в., не говоря уже о его современниках. Он прекрасно понимает, что *поведение различных общественных групп зависит от их интересов*, что одни слои обществ уже по самому своему положению являются защитниками существующего порядка, а другие естественными его противниками.

Нет никого, говорит он, кто бы решился выступить на борьбу со злом: одни не хотят, другие не могут. О королях и знати говорить нечего — они сами носители этого зла. Но разве захотят бороться с несправедливостью те люди, которые занимают какие-либо светские или духовные должности? Ведь, от расположения князей зависит их благосостояние, а всякий больше думает о своем благе, чем о благе общественном. Конечно, они скорее будут льстить князьям, чем противоречить им. На этой несправедливости, на лжи и суеверии религия основывается тот почет, которым они пользуются, основывается их власть, да и крупные доходы в придачу.

Не станут бороться и богатые скупцы, ибо, благодаря покровительству власти, имеют они свои ростовщические доходы. Наконец, не станут бороться все те, кто любит сладкую жизнь, ее удобства и удовольствия, ибо борьба связана с мучениями и преследованиями. Тем же страхом преследований объясняется молчание людей умных и просвещенных, знающих всю пустоту религии и всю несправедливость законов, но нерешающихся идти на верную гибель.

Таковы те группы людей, которые *не хотят* бороться со злом. Нет сомнения, что сами они суеверия вовсе не разделяют. Они очень пренебрежительно относятся к заповедям и к обрядам религии, они исключительно заботятся о благах земной жизни, нисколько не думая о небесных наградах и нисколько не боясь адских мучений. Все это предназначено для других. Теперь перейдем к тем, кто *не может* бороться. Это — бедные люди, выносящие на плечах все бремя существующего порядка. Почему же они терпят? Во-первых, потому, что они *несвободны*. Они не могут распутать сеть заблуждений, в которой их умышленно держат. Живя в вечной нищете, в вечном тяжелом труде, не получая никакого образования, они почти совершенно неспособны понять, что их бедственное положение противоречит правам человека. Во-вторых, они терпят потому, что они *разрозненны*, между ними нет солидарности. А в деле такой важности, как борьба с угнетателями, необходимы взаимное доверие и сплоченность.

Положение получается, как будто безвыходное. Только сами угнетенные могут захотеть бороться со злом, а, между тем, условия их жизни таковы, что не только не вырабатывают в них способности к борьбе, но, наоборот, создают для этой борьбы неодолимые преграды. И, действительно, у Меазе нет-нет, да и зазвучит песимистическая нотка, особенно в конце "Завещания", где он прощается с миром. Но в общем все же примириться с

тем, что люди зашли в какой то ужасный тупик, Мелье не может Слишком сильна в нем вера в человека и в силу его разума. Анализ реальных отношений дал печальный результат (для начала XVIII в. весьма близкий к истине: для осуществления идеала Мелье, действительно, не было данных во Франции его времени. Представления о том, что сами эти реальные отношения изменяются в процессе истории, у Мелье нет. Идеология эволюция ему совершенно чужда. Чтобы спасти веру в будущее человечества, оставалось, следовательно, одно: пожертвовать предшествующим анализом, отказаться от реализма во имя рационализма, не смущаясь возникающими противоречиями. Реализм завед Мелье в тупик: рационализм его оттуда выводит.

Если главную опору существующего строя составляет невежество, то в эту сторону и должны быть направлены все усилия. Но кто же займется просвещением масс? Сам народ не может выпутаться из сети заблуждений без посторонней помощи, — приходится возложить все надежды на просвещенных людей. Мелье как будто забывает, что он говорил о них раньше и категорически заявляет: *они должны*. Если они не осмелятся в виду грозящего им наказания, сказать истину при жизни, то они могут засвидетельствовать ее, как он, перед смертью. Мелье не рассчитывает на то, что таких людей найдется много. Он хорошо знает, что люди образованные в большинстве случаев являются прислушниками сильных, что они льстят правителям и оправдывают их беззакония¹⁾. Он хорошо знает и то, что книги враждебные религии и государству, не доходят до народа, что народу дают лишь книги благочестивых пасторов и лицемерных обманщиков. И все же он верит в торжество справедливости ибо верит во всепобеждающую силу и истину.

Слишком долго народы терпели, пора им узнать правду. Необходимо просветить народ, освободить его от власти заблуждений, внушить ему ненависть и презрение к сильным мира, побудить его сбросить тяжелое ярмо тирании. Две вещи следует проповедывать. Во-первых, для того, чтобы приобрести знания, полезные для общества, необходимо следовать единственно свегу человеческого разума. Во-вторых, для того, чтобы установить хорошие законы, необходимо следовать единственно правилам справедливости и естественного равенства.

Допустим, что истина восторжествовала, что народ освободился от религии. Как представляет себе Мелье дальнейший ход дела?

Прежде всего нужно заметить, что освобождение от христианства для Мелье — не только умственное, но и нравственное освобождение человека. Христианская мораль служит той же цели порабощения добрых злыми. Прославлением страданий, признанием любви к страданиям за добродетель и осуждением естественных влечений физической природы человека, — этими двумя положениями она как бы советует терпеливо сносить голод и холод, угнетение и унижение. Стремиться к благам жизни, бороться за них — грех; покоряться своей несчастной участи — добродетель. Но хуже всего — поведение любить своих врагов и делать им добро. Это правило явно покровительствует злым и содействует угнетению добрых. Оно противоречит естественному праву, здравому рассудку, справедливости. Вполне естественно ненавидеть зло и защищаться от несправедливости. Проповедывать такие правила морали значит связывать руки добрым и давать полную свободу злым. То же освободившись от этой морали, угнетенные поймут, что они имеют право стремиться к счастью здесь на земле, что они имеют право бороться за это счастье. А лишь бороться и может их освободить.

1) Первое условие успешной борьбы — единство, солидарность. „Обединяйтесь же, народы!“ восклицает Мелье. Если все народы, все города и провинции хорошо сговорятся, если они составят общий заговор для освобождения от общего рабства, то тираны будут скоро уничтожены. „Помогайте друг другу: дело идет о том, что одинаково важно для всех народов. Вас губит то, что вы сражаетесь друг против друга вместо того, чтобы сражаться в одних рядах за общее дело. Вы должны последовать примеру храбрых голландцев и швейцарцев: у вас не меньше поводов к восстанию“¹⁾ „Все зависит от народа, все держится на нем. Стоит ему захотеть, и тирания падет. Все угнетатели живут на продукты народного труда и не только они, но и все, кто им служит. Если бы народ не поддерживал князей и их прислужников, то они были бы такими же слабыми и незначительными людьми, как и все прочие. У знатных не было бы больше богатств, чем у вас, если бы вы не давали им своего богатства; у них не было бы больше власти, чем у вас, если бы вы не хотели подчиняться их законам. Ваши дети, ваши родные, ваши друзья служат тиранам; без них и без вас они не могли бы обойтись“. „Они пользуются вашими силами против вас же самих“)

Что касается способов борьбы, то Мелье считает законным всякий акт, направленный против тиранов, вплоть до тираноубийства. Иногда у него прорываются прямо кровавадные ноты. „Я хотел бы обладать силой Геркулеса, чтобы истребить эту чудовищную несправедливость. Ведь, предаю суровым наказаниям разбойников, которые грабят на большой дороге. А души некое князя и сильные мира заслуживают еще больших на-

1) Мелье имеет в виду нидерландскую республику и протестантско-буржуйскую и английскую протестантскую республику.

2) Testament, III. 391

казаний, это самые злые воры и самые худшие убийцы”.

В древности говорили, что старых тиранов не бывает. Люди не были тогда так слабы, чтобы позволять тиранам долго жить и царствовать. Теперь не го. Люди нечувствительно привыкли к рабству, им кажется, что рабство их естественное состояние. Поэтому-то гордость тиранов все возрастает, их власть становится все невыносимее. Их несправедливость и злоба возрастают вместе с их благополучием. „Где благородные тираноубийцы минувших времен? Где Брут и Кассий? Где убийцы Калигулы? Нет у нас более Макса Клеман и Гавальяков,—нет этих великих людей, этих благородных душ, которые шли на смерть за счастье своей родины, которые доблестную гибель предпочитали позорной жизни”.

Как видим, Мелье оправдывает тираноубийство и с точки зрения справедливости, и с точки зрения целесообразности. Историк политических идей французского католицизма эпохи реформации Лабитт не совсем прав, когда говорит, что идеи католиков монархомахов не были восприняты всеннадцатым веком ни с своей религиозной, ни с политической стороны ¹⁾ (хорее именно их идеи, в частности идея проповедника Лига Буше, а не идеи протестантов монархомахов отразились в той идеологии тираноубийства, которую мы только что цитировали). Познакомился ли Мелье с теориями монархомахов непосредственно или через руки воспринявших эти теории публицистов XVIII в., сказать трудно. Наиболее сильный довод против первого предположения состоит в том, что Мелье ни разу не цитирует монархомахов, тогда как современники известны ему очень хорошо. В том же, что публицистика XVIII в. была в сильнейшей

¹⁾ Лабитт, с. 100.

²⁾ Клеман и Гавальяк — убийцы короля Генриха III и Генриха IV, представители воинствующей католической партии в эпоху реформации.

степени пропитана идеями монархизма и не сомневай-
тесь убедиться, достаточно просмотреть хотя бы только
те отрывки из этой публицистики (*Esprit de Mazarin*,
Esprit duc и т. п.), которые приведены у Мелье. Не
есть доводы и в пользу непосредственного влияния
монархомахов. Во-первых, в сочинении Мелье должен
был ознакомиться с историей французского проповед-
ничества, а следовательно и с деятельностью Лиги¹⁾. Во-
вторых, весь изложенный нами отрывок „Завещания“
удивительно напоминает памфлет проповедника Лиги
Буше — *De justa abdicatione Henrici tertii*. И основная
мысль этого памфлета та же, что у Мелье: всякое ча-
стное лицо имеет право, даже обязано убить тирана; и
имя Жака Клемана невольно вызывает сопоставление.
Даже в деталях, в оборотах речи чувствуется сходство.
Если даже все эти совпадения считать случайными, то
одно остается несомненным: восхваление героев Лиги,
представление о Клемане и Равальяке, как о мучениках
за счастье родины могло перейти к Мелье только от
писателей Лиги.

Наряду с тиранубийством Мелье признает возможной
и бескровную борьбу. Истребление тиранов потеряет свое
значение, когда народ сознает свое положение и необ-
ходимость из него выйти. Народ может пожелать нака-
зать тиранов за причиненные ими несправедливости; но
победить их он может без пролития крови. Чтобы иссу-
шить корни тирании, говорят Мелье, достаточно лишить их
питательных соков, которые они извлекают из народного
труда. Не давайте ничего гордым и бесполезным без-
дельникам, не давайте ничего монахам и духовенству,
не давайте ничего дворянам, которые вас презирают,
не давайте ничего тиранам, которые вас угнетают. Пусть
ваши дети, ваши родные и друзья перестанут им слу-
жить. И вы увидите как эти люди завянут подобно

¹⁾ Возникнувшая католическая организация „*Union*“

траве, корни которой не получают соков из земли. Для этого необходимо только отлучить их совершенно от своего источника и смотреть на них, как на отлученных.

Эта идея политической революции — об этом не менее удивительно в устах священника начала XVIII в., чем проповедь международного объединения угнетенных. Демократически-революционный дух, который проникает книгу Мелье, совершенно чужд социалистической и агитаторской литературе XVIII в. Мысль о революции, как о средстве улучшить бедственное положение масс, не приходит в голову даже Руссо, этому общепризнанному теоретику демократии. Очевидно, обстановка жизни деревни создавала несколько иные настроения, чем обстановка парижских литературных кругов и парижских салонов. И именно этот демократически-революционный дух делает Мелье особенно близким нам. Конечно, у Мелье нет отчетливой формулировки идеи классовой борьбы, у него нет даже ясного представления о классовом строении общества. В этом отношении даже буржуазные экономисты XVIII в. — Кенэ и Тирго, — дают больше. Но он сознает зависимость поведения различных общественных групп от их групповых интересов, он признает необходимость для достижения социального идеала борьбы угнетенных групп с угнетателями. Для него борьба — единственный возможный двигатель исторического процесса. Он не осуждает ее, как многие социалисты-утописты не только XVIII, но и XIX в., — наоборот, он к ней призывает.

Эти-то точки соприкосновения Мелье с теорией классовой борьбы и привлекали к нему внимание социалистического круга XIX в.¹⁾ Но в XVIII в. социально-политические идеи Мелье не получили широкой известности так как и Вольтер и другие издатели этой стороны „Звездания“

¹⁾ Гуго в „Предвещаниях будущего“ и „Звездания“ и Матей в „Revue socialiste“ и VII

не интересовались. Время революционного социализма борьбы, а не мечты было еще очень далеко.

Насколько был забыт Мелье, как политический писатель, свидетельствует следующий факт. В эпоху Конвента один из решительнейших демократов — Анатарсис Клоотер предложил воздвигнуть статую Мелье. Но и сам Клоотер и принявший его предложение Конвент ценили в Мелье лишь его антирелигиозные идеи. Декрет Конвента мотивирован тем, что Мелье был первый священник, освободившийся от религиозных заблуждений. Если бы Конвент имел представление о подлинном Мелье, то он должен был бы оценить по заслугам — конечно, не социальным Мелье, а хотя бы его вражду к тирании.



Зная, какую роль отводит Мелье религии в своей социальной философии, мы теперь легко поймем, почему опровержение религии занимает такое место в его труде: почему этой задачей определяется самый план „Защиты“.

Часть доводов, приводимых Мелье против христианства, мы уже рассмотрели. Эти доводы можно назвать социологическим и этическим. Всю остальную аргументацию приходится разделить на два отдела. Первый направлен специально против христианства и содержит в себе критику достоверности священных книг, критику христианской доктрины — учения о тринности, о грехопадении, об искуплении — и критику таинств. Второй отдел представляет собою опровержение учений, лежащих в основе всякой религии, — учения о Боге и о бессмертии души. Для нас наиболее интересен второй отдел, ибо, именно, здесь изложены наиболее полно философские взгляды Мелье. Попытаемся их выделить и по возможности систематизировать.

Боготопклонники утверждают, что сама природа заставляет их признать бытие единого бога, всемогущего

бесконечно доброго, бесконечно мудрого и совершенного. Им кажется, что великие, прекрасные и удивительные произведения природы могли быть созданы и приведены в порядок, в каком они находятся, только всемогущим существом, а другим бесконечно мудрым и бесконечно добрым. Но так как не существует такого материального и ваткого существа, которому они могли бы приписать все эти совершенства, то им приходится создавать в своем воображении существо невидимое и нематериальное. Идея такого существа в соединении с идеей безграничного совершенства и составляет идею бога.

Бог таким образом, первая причина всего существующего. Но можно ли считать приведенное рассуждение за доказательство бытия божия? Если мы видим какое либо совершенное произведение искусства, то его совершенство, несомненно, доказывает существование создавшего его совершенного мастера, ибо мы прекрасно знаем, что оно не могло возникнуть само по себе. Но совершенство произведений природы никоим образом не доказывает существование какого либо иного мастера, кроме самой природы: она сама творит все, что мы находим столь прекрасным и удивительным. Рассуждение богопочвенников можно было бы продолжить так: бесконечное совершенство бога доказывает, что он сотворен другим бесконечно совершенным существом, а это существо в свою очередь в том же до бесконечности. Конечно, это будет смешно и нелепо. Но тогда почему же совершенства мира доказывают, что он сотворен кем то другим? Одно не более доказательно, чем другое. Можно еще привести такой довод: Бог есть то, что он есть сам по себе, и поэтому не нуждается в творце: природа же не может быть такою, как она есть, сама по себе и потому должна быть сотворена всемогущим богом. Этот довод ничего не стоит. Во-первых, он предполагает доказанным то, что еще требует доказательства. Во-вторых, одинаково легко доказать и про бога, и про природу, что все из

совершенства существуют независимо от чего-либо, вне их находящегося. Приходится только из этих двух предположений выбирать наиболее правдоподобное. И, конечно гораздо больше оснований приписать необходимое бытие бытие само по себе существу реальному, которое находится везде, а не существу воображаемому. Это ясно и очевидно.

К тому же гипотеза бога несколько не помогает в объяснении явлений природы. Если трудно представить что мир существует сам по себе, не имея творца, то еще труднее понять, как творец, называемый богом мог создать мир из ничего. Творение видимых вещей—не меньшая тайна, чем их естественное образование. Если мы даже представим себе творца в виде существа материального, с чем богопочклонники, разумеется, не согласятся, то и тогда будет непонятно, каким образом такая-то определенная материя может создать другую материю. Почему одной части материи мы должны приписывать творческую силу, а другой—нет? Материя—это всегда материя. Может ли один атом создать другой? Или весь этот мир,—может ли он создать другой мир? Без сомнения, нет. Мы должны помнить, что создавать—значит творить из ничего. Одно материальное существо может произвести другое материальное существо посредством новой комбинации частей существующей материи но сотворить из ничего—не может. Возьмем теперь существо нематериальное. Действовать—значит двигаться. Но существо, которое не имеет ни тела, ни частей, не может двигаться. Раз оно не может двигаться, оно не может ничего делать, ничего создавать. Следовательно бог,—существо нематериальное, — не мог создать мир. На это обыкновенно возражают, что духовная субстанция действует не движением своих частей, но духовно—разумом и волей. Но это уже пустые слова, не означающие ничего реального, их совершенно нельзя понять

Богопоклонники думают, что бог не только сотворил мир, но и непрерывно вмешивается в его жизнь. Ни одно тело, — говорят они, — не может двигаться само по себе, материя не имеет в себе движущей силы. Что же ее приводит в движение? По мнению богопоклонников — воля бога. Даже человеческое тело приводится в движение не волей человеческого духа, а волей божией. Ведь, для того, чтобы знать, как двинуть рукой, необходимо знать анатомию, знать, при помощи каких мускулов рука движется. Между тем, люди не знающие анатомии, движутся часто с гораздо большей ловкостью, чем знающие. Ясно, что один только бог, всезнающий и всемогущий, может привести в движение, — и, действительно, приводит в движение, — человеческое тело.

Вся эта теория основана на том допущении, что нематериальное существо может приводить в движение материю. Это совершенно невозможно. Чтобы каким-бы то ни было образом воздействовать на материю, необходимо ее толкать, к ней прикасаться. А то, что само не материя, что не имеет ни тела, ни частей, что само не может двигаться, никаким образом не может прикасаться к материи, следовательно, не может ее приводить в движение. Затем, чтобы прикасаться к материи, то что прикасается, должно быть само непроницаемо, как и материя. Духовная сущность не обладает непроницаемостью. Наконец, бог, по признанию его поклонников, совершенно неизменен в своей сущности, в своих намерениях, в своей воле. Такое неизменное существо не может быть причиной изменения, а всякое движение материи есть некоторое изменение, для объяснения которого приходится допустить изменение в божественных намерениях и в божественной воле. Следовательно, если даже движение материи вызывается не прикосновением, а просто волей бога, то и тогда мы не в силах выбраться из противоречий. А это предположение уже само

по себе нелепо и непонятно. Словом, никакое вмешательство бога в жизнь материального мира—невозможное.

В связи с критикой учения о божестве Мелье излагает свою собственную философию. Первый, не подлежащий никакому сомнению, принцип состоит в том, что материальное существует реально. Это ясно и очевидно. Быть последовательным скептиком, сомневаться во всем, значит отказываться от света человеческого разума и становиться в противоречие с естественным чувством¹⁾. Из такого человека, если только такий есть, нужно смотреть просто, как на сумасшедшего. Но их нет: всякий, каким бы скептиком он ни был, знает, что есть различие между удовольствием и страданием, между куском хлеба и простым булжником. Пирронизм — скорее праздная игра ума, чем искреннее убеждение.

Итак, бытие существует. Но если оно существует, то оно и существовало вечно. Оно не могло когда-либо начать существовать. Оно не могло начать существовать само по себе, так как то, что не существует, не может себе дать существования. Оно не могло получать начало от другого бытия, так как, когда бытие не существовало, то не существовало никакого бытия. Это вечное бытие, бытие вообще, и есть сущность всех вещей, ибо ясно, что без него не могла бы существовать ни одна вещь.

Богопоклонники скажут, что это вечное бытие и есть Бог, что материальное и чувственное бытие не вечное, что оно не могло бы существовать, если бы его не создал Бог. Против этого можно привести следующие доводы. Во-первых, предположение о существовании не материальной субстанции — Бога произвольно и недоказуемо. Во-вторых, если бытие вечно, то вечность скорее можно приписать существу реальному, а не воображаемому. В-третьих, гипотеза творения материального мира

нематериальным существом страдает неустраняемыми противоречиями. Наконец, бытие должно находиться во всех вещах, как их сущность, из него они возникли и к нему, в конце-концов, возвращаются. Материя и есть то, что находится во всех вещах, материя—единственно реальная сущность; следовательно, *бытие есть материя* ¹⁾. Если так, то все, что было сказано о бытии, приложимо и к материи. *Материя вечна, ее существование не зависит ни от какого другого бытия, она—первопричина всего сущего.* Насколько теория, признающая божество, противоречива и неразумна, настолько эта теория проста, ясна и последовательна.

Материя делима; материя способна к движению и движется. В результате движения различных частей материи возникают новые их комбинации, новые вещи. Все в природе происходит по естественным законам движения материи, все объясняется различным сочетанием, конфигурацией и модификацией ее частей. Материя движется сама по себе; никакой внешней причины, вызывающей ее движение, не существует. Мелье признает, что не легко понять, в чем первая причина движения. Но, во всяком случае, отказываясь от попытки объяснить движение из свойства самой материи, прибегая к содействию идеи Бога, мы попадаем в еще худшее положение. Смешно отвергать наиболее вероятное под тем предлогом, что мы не все понимаем, и заменять менее вероятным и еще более непонятным. Ни одного серьезного аргумента против того положения, что движение есть свойство самой материи, привести нельзя.

Основной принцип движения материи — стремление к прямолинейности, так как такое движение самое простое и естественное. Но пространство наполнено материей, и частица, движущаяся по прямой линии, встречает препятствия в своем движении, а потому вынуждена дви-

гаться по круговой (?). Так образуются вихри жидкостей этой формы движения объясняется форма земли (солнца, луны) и планет.

Влияние теории Декарта (?) на это объяснение, очевидно, да Мелье и сам указывает на картезианство как на своих учителей в этом отношении. Вероятно же влияние объясняется почему понятие атома, хорошо известное Мелье из Лукреция, так мало применяется. С другой стороны также несомненно знакомство Мелье с теорией Ньютона; о законе тяготения он не имеет никакого представления. Будет ли закон ему известен, всемирное тяготение заняло в его системе то место, которое в системе Лукреция занимает равномерное падение атомов: оно явилось бы в качестве первой причины движения. Но Мелье, как видели, отказывается его указать. Что теория Лукреция по своей крайней наивности была уже для него несомненно, в этом нет ничего удивительного: при ограниченности своих познаний в физике и механике же и человек XVIII в. прошедший школу картезианства.

Если единственное реальное бытие — материя, то *человеческая душа*, которая, несомненно, реальна, которая дает движение и силу человеческому телу, в сущности, существом которой никак не может сомневаться, — *материальна* (?). Мы не можем представить себе реального существа, которое не имело бы тела и не занимало бы некоторого пространства. Это неудивительно, так как нельзя представить себе бытия, лишенное всех свойств бытия. Поэтому все древние философы утверждали, что душа материальна, и только новые провели различие между телом и духом как-то так. В чем же они находят между ними разницу? Ни в виде, ни в желании к...

1) Французский философ XVIII в.

2) Картезианцы — последователи Декарта

3) Тесташант II 233

ство не имеют протяжения, говорят они: они не круглы, не четырех угольны, их нельзя разрезать на части. Из этого они заключают, что сама душа непротяженна. Так у них получаются две субстанции: одна протяженная — материя, другая только мыслящая — дух. Жизнь души — мышление, жизнь тела — движение.

Как ли силен и неопровержим этот аргумент? Предположим, что мыслит и чувствует материя. Из этого вовсе не следует, что мысль, как и материя, должна быть протяженной и делимой. Движение есть одна из модификаций материи; между тем, движение не есть само по себе нечто круглое или четырехугольное, движение нельзя разрезать на части. Следовательно вовсе не все модификации материи протяженны. Модификации материи не могут обладать всеми свойствами материи. Если так, то и непротяженная мысль может быть модификацией материи. Пойдем дальше. Сущность души мысль, жизнь души — мышление, говорят философы. Но мысль это — действие души; как же она может быть сущностью души? Душа может существовать, не мысля. О чем мыслит душа ребенка во чреве матери? Он ничего не знает, так как ничего еще не ощущал. Естественно, что он не может ни о чем мыслить, а душой он, конечно, обладает.

Представление о нематериальности души ни на чем не основано и противоречиво. Но и помимо этого против него можно привести целый ряд доводов. Предполагая нематериальность души, мы встречаем целый ряд затруднений. Вытекающих из необходимости объяснить взаимодействие души и тела. Душа и тело, как две разные субстанции, должны иметь две разные жизни. На самом деле душа и тело образуют единое, живое существо. Тесная связь между ними несомненна для всех философов. Мы мыслим при помощи нашего мозга, видим при помощи глаз, чувствуем страдание или удовольствие всем своим телом. Отнимите у нас все органы, и

что останется от нашей жизни? Где будут наши мысли, наши страдания и наслаждения?—Конечно, их не будет вовсе. Различные модификации материи тела вызывают в душе те или иные мысли. Разве это возможно, если душа и тело различны по самой своей субстанции? Как может материальная субстанция действовать на духовную? И, наоборот, духовная на материальную? Все эти затруднения чувствуют защитники нематериальности души. И чтобы выйти из них, прибегают к гипотезе еще более непонятной, прибегают к тому, что всегда их выручает,—к Богу.

То, что мы называем душой, есть по мнению Мельмиса некоторое количество очень тонкой, легкой и подвижной материи¹⁾; будучи смешана известным образом с более грубой материей, она образует органическое тело, которому своим непрерывным движением дает жизнь и чувствительность. Ближе проникнуть в ее природу очень трудно. Мышление происходит в материи нашего мозга. Но это не есть определенное качество материи, это — некоторое, свойственное ей внутреннее движение, некоторая модификация материи. Однако, нельзя сказать, что живет и мыслит материя вообще. Нет, живет и мыслит человек, точно так же, как болтает и ходит человек, а не материя. Камень, кусок дерева или кукла не живут и не мыслят. Мыслить и чувствовать может лишь существо одушевленное, т.е., одаренное силой, дающей жизнь материей—душой.

Бессмертие души Мельмис категорически отрицает. Прежде всего, душа способна к изменениям, меняются мысли, чувства, желания. А все, что может изменяться, доступно разрушению. Затем, невозможно себе представить, куда денется душа после смерти тела? И в чем будет состоять ее жизнь без тела? Предположить же, подобно Пифагору, что душа перетекает из одного тела в дру-

тое, совершенно нелепо. Это безумные бредни, а не мудрость. Наконец, если душа материальна, то она должна разрушаться вместе с разрушением остальной материи тела. Так как эта материя особенно легкая и подвижная, то вероятно, она, освободившись от тела, рассеивается в воздухе, подобно пару или подобно пламени тухнувшей свечи.

Нетрудно догадаться, откуда заимствовал Мелье основы своей теории души. Чем более, что он посвящает даже отдельную главу цитатам из своего учителя. Этот учитель, — все тот же Лукреций. Из теории Лукреция Мелье удаляет лишь понятие атома. Душа — тонкая материя; ощущение и мышление — формы движения; мыслит не материя, а живой организм: после смерти душа исчезает подобно пару — все это взято у Лукреция в совершенно неизмененном виде. Только в постановке вопроса о взаимодействии души и тела чувствуются более новые, картезианские мотивы, так еще положение о чувственном происхождении познания непосредственно заимствовано у Монтезя.

Мелье приписывает мышление и чувствование тому же началу, которое дает и жизнь. Из этого необходимо вытекает признание одушевленности животных и растений, как живых организмов. Мелье готов допустить, что растения могут даже мыслить. Но особенно подробно останавливается он на душе животных, и опять-таки под влиянием картезианства. Не желая признать за животными право на создание души в спирагуалистическом смысле, и в то же время не допуская, чтобы сама материя могла чувствовать и мыслить, картезианцы приходят к совершенно абсурдному выводу, говорит Мелье далее, по их мнению, ничего не чувствуют; они, как бы забывшая чувствования, кричат, не испытывая боли, не чувствуя холода, не желают ничего не боятся.

Животные не могут выражать своих чувств на достаточно понятном для нас,—это правда. Но из этого нельзя заключить, что они не имеют чувств. Идя таким путем, мы, пожалуй, в конце-концов, заявим, что проказы и японцы тоже лишь бездушные машины. На самом деле животные имеют свой естественный язык, они понимают друг друга, если принадлежат к одному виду. Они зовут друг друга, отвечают друг другу. Мало того, у них есть общественная жизнь. Они знают друг друга и разговаривают между собою. И т. д., и т. д. И все это делают бездушные машины? Предполагать это — чистейшее безумие, и сторонники таких взглядов заслуживают не опровержения, а насмешки.

Недаром Мелье так усердно занимается критикой этого пункта картезианской философии. Она важна для него не столько сама по себе, сколько, как сильный аргумент против спиритуализма. Мир животных — это позиция, добровольно сданная Декартом материализму. Животные по учению Декарта, не обладают душой, они — целиком материя. Стоит доказать, что они чувствуют, и получается неизбежный вывод: чувствует материя. Доказать же это не так трудно, и очень соблазнительно воспользоваться таким легким способом победить противника, обратив в свою пользу его же собственную аргументацию.

Ощущение есть некоторое специфическое движение материи. Но как же происходит, что это движение становится ощущением? Мелье понимает возможность такого вопроса, но даже не пытается на него как-либо ответить, ссылаясь на непознаваемость процесса познания. Не следует удивляться, говорит он, что для нас остается непонятным, как такая-то и такая-то модификация материи вызывает в нас такое-то и такое-то ощущение¹⁾. Наше познание приспособлено к познаванию

¹⁾ Testaments III 149, выражение весьма удачно материалиста.

внешнего мира, а не к познанию самого себя. Для пояснения своей мысли Мелье приводит такое сравнение. Глаз устроен так, чтобы им можно было видеть то, что находится вне его, но видеть самого себя он не может. Точно так же принцип познания не может быть доступен самому же познанию. Превращение модификации материи в ощущение и есть такой непознаваемый принцип познания. Мы совершенно не можем понять, каким образом в нас образуется какая-либо мысль. Самая маленькая наша мысль представляет собою поразительное и непостижимое явление. Мы не можем понять ее возникновения, потому что она служит не для самопознания, а для познания других вещей.

Чтобы закончить изложение философских идей „Завещания“, нам необходимо остановиться еще на аргументах, приводимых Мелье против бытия Божия. Эти аргументы тесно связаны с так называемыми доказательствами бытия Божия, помещаемыми во всех катехизисах. Понятно, что необходимость полемизировать с схоластиками заводит самого Мелье в дебри схоластики. Мы за ним туда не последуем. Но один аргумент имеет самостоятельное значение и очень важен для понимания этого процесса, который превратил христианского священника в воинствующего материалиста. Это — как бы связующее звено между чисто-философскими и социальными идеями Мелье.

В мире вообще, и в человеческой жизни в частности, царит зло, как физическое, так и нравственное: пороки, злоба, страдания и болезни, мучительная смерть. Невозможно допустить, чтобы всеблагий и всемогущий Бог, создавая мир, пожелал страданий для своего собственного творения. В таком случае, как же примирить эти, несомненно, существующие страдания с его благостью? Для разрешения этого противоречия богопочитателям приходится прибегать к теориям, оправдывающим зло при каких-то особенных целях Бога. Впрочем, иногда

они просто заявляют: пусть человек расхищается, что он понимает и молчит по поводу того, чего не имеет. Основное положение всех оправдывающих теорий состоит в том, что Бог терпит зло, что, не имея влечь добро. Melius procul, quam prope Августин. В чем же состоит то благо, которое извлекается из Зла—страдания. Страдания посылаются Богом праведникам в наказание за грехи, а праведникам для испытания их добродетели. За страдания все будут вознаграждены в будущей жизни. Эти рассуждения, говорит Мелье, имеют никакой цены. Можно уже основное положение, ибо non sunt facienda mala ut eveniant bona. Вещный Бог мог бы дать людям все блага, не прибегая к помощи зла. Вместо того, чтобы наказывать грешников страданиями и таким путем приводить их к благу—управлению, всемогущий Бог мог бы совсем уничтожить всякий грех. Почему богопоклонники говорят, что Бог гневается на грехи людей, если он сам творит это зло для высшего блага? Сверх того, наказание не имеет смысла, так как в большинстве случаев страдания делают людей не лучше, но хуже. Наконец, если даже допустить, что существуют какие-то блага будущей жизни, то и тогда нужно признать, что эти блага вовсе не обязательно связаны с страданиями, как вознаграждение за них, но могли бы быть даны Богом и без претшествующих страданий. И люди в муках души никак не могут примириться с этой теорией, так как они все время молят Бога об избавлении от страданий. Если еще можно примириться со страданиями грешников, то страдания людей невинных и добродетельных ничем не могут быть оправданы. Тем более, что блага будущей жизни—истейшая фантазия.

Последний довод, приводимый богопоклонниками, оправдание зла состоит в том, что зло, царящее в мире, дает возможность проявиться во всей полноте справедливости.

ливости и милосердию Божию. Что возмущает Мелле? Что можно сказать о враче, который, чтобы показать свое искусство врачевания, начал бы распространять заразные болезни? А такой довод приводит вполне серьезно апостол Павел в своем послании к римлянам.

Итак, все эти теории — софистика. Можно еще себе представить, что люди, не обладающие всемогуществом, прибегают иногда к злу, чтобы достигнуть блага, напр к кровопусканию для излечения от болезни. Но Бог всемогущий и всеблагий не мог бы допустить в созданном им мире малейшего зла, тем более страдания невинных. Следовательно, *если существует зло, то нет Бог.*¹⁾

Мы сказали, что видим в этом аргументе связующее звено между философскими и социальными идеями Мелле. Уже неоднократно нам приходилось указывать, что страдание оскорбленного нравственного чувства, ненависть к парящей в мире несправедливости составляет основной тон „Завещания“ Бляжайший, непосредственный источник этого страдания — окружающая Мелле жизненная среда: социальный и политический строй современной ему Франции. Против них и борется Мелле главным образом. Если бы он был менее цельным человеком и менее последовательным мыслителем, то, быть может, на этом бы и остановился. Но его мысль неуклонно продолжала работать в том же, раз данном, направлении. Религия покровительствует общественному неравенству, санкционирует зло — следовательно, она не может быть истиной. Надо пересмотреть ее принципы, воспринятые верой, с точки зрения человеческого разума. Бог терпит зло и несправедливость, Бог даже создал весь пропитанный несправедливостью мировой порядок, — само понятие Бога, как существа всесовершенного, рушится. Надо пересмотреть доказательства бытия Божия с той же точки зрения. И Мелле проделывает

¹⁾ Testament III, 261. 268

помощью того философского багажа, какой у него имеет разрушительную критическую работу, как над христианством, так и над основными принципами всякой религии. Вместе с ними он отвергает и спиритуализм, так тесно с ними сросшийся, берущий их под свою философскую защиту.

Разрушив до основания свое официальное миросозерцание, Мелье неизбежно должен был прийти к его противоположности—к материализму. Только эта система была совершенно свободна от всех тех фантомов, которые он отверг бесповоротно, только она отрицала до конца всякие религиозные представления. Следовательно только в ней могла заключаться для него чистая истина. Основы материалистической системы были перед ним в готовом виде—„О природе вещей“ Лукреция. Влияние философской мысли древности чувствуется у Мелье на каждой странице. Оставалось лишь развить и переработать эти положения древнего материализма в духе картезианства, школу которого Мелье недаром прошел. Конечно, не в духе метафизики Декарта, а в духе его натурфилософии.

Среди французских мыслителей XVIII в. немало материалистов, немало решительных противников христианской церкви и религии вообще. Мелье один из самых ранних, но далеко не из самых крупных в их среде. Но большинство из них стоит всецело на почве буржуазного строя в своих социально-политических взглядах. Среди французских политических писателей XVIII в. не было социалистов. Некоторые из них создали системы гораздо более обстоятельные, чем система Мелье. Но большинство из них стоит всецело на почве самого грубого утопизма, совершенно не понимает ни движущих сил истории, ни способов осуществления социализма. Только у Мелье коммунизм и материализм сливаются в стройное и последовательное учение. Только у Мелье коммунизм сочетается не с морализирующим утопизмом

а с революционной идеей международной классовой борьбы. Это удивительное для XVIII в. соединение делает из бедного деревенского священника, принесшего себя в жертву своей любви к народу, истинного и близкого предшественника революционного и материалистического социализма наших дней.

В. Волгин.

— — — — —